П. М. АВРАМОВ

КОВЫЛИЙ СКАЗ
ЯРОВОЙ СЕВ

Издание «Родимого Края»
52, Avenue Flachat Asnières (Seine)
1960

П. М. АВРАМОВ

КОВЫЛИЙ СКАЗ
ЯРОВОЙ СЕВ

Издание «Родимого Края»
52, Avenue Flachat Asnières (Seine)
1960

КОВЫЛИЙ СКАЗ. *)

Ковыла, наша ковылушка,
Ты родной степи трава,
Отчего твоя, ковылушка,
Низко клонится глава?

Вам поклон земной, казаченьки,
Вместе с ветром отдаю.
Помоги вам Мать Пречистая
Победить врага в бою.

(Ик казачьей песни).

Кого не очарует, кому не приглянется статная молодая казачка, когда праздничным днем, разодетая в яркие ситцы, с кружевными оборками на рукавах и подоле, с альми лентами в длинных девичьих косах, в разноцветных, радугой переливающих на солнце, монистах, выйдет она из родительского куреня на улицу и, бросая из под слегка «насурлёных» бровей лукавый взгляд на парней, торопливым шажком, рдея от молодости, стыда и счастья, направится к подружкам, поджидающим ее у станичного плетня?

Всех очарует, всем приглянется.

---

*) «Ковылий сказ» является введением к двум последующим «показам» ковыля: «Это было весной» и «Месть атамана Зота», которые подготовляются к печати и выйдут отдельным изданием. Прим. автора.

Молодой казак невольно подбоченится, выставит левую, в начищенном до зеркального блеска сапоге, ногу, встряхнет головой, отчего фуражка с красным околышем сама собой сдвинется «на-бекрень», обнажив еще больше старательно взбитый чубок и схватится двумя пальцами за верхнюю губу, где сейчас у него еле заметный пушок, но где, позже, вырастут длинные казачьи усы. Примет, словом, ту неотразимо-гордую позу, от которой сильнее забьется девичье сердце, ярче заиграет, на чуть-чуть напомаженных щечках, стыдливый румянец...

Степенный семьянин, при виде красавицы, одобрительно крякнет и тотчас же призадумается. Вспомнит про свою Настёнку и о приданом — Настёнка на - выданье...

И только старый дед, давным давно поженивший и выдавший замуж всех своих детей и, стало-быть, совсем свободный от всех чувств, какие может вызвать юность и женская красота у казаков помоложе, с чистым сердцем, безо всякой корысти, полюбуется спешащей по улице прелестной казачкой. К старческим, всякие виды видавшим глазам его, паутинной сеточкой сбегутся морщины, залучится, осветится ими усталое, изрядно пострадавшее от житейских невзгод, лицо и в седую бороду, мечтательно поглаживаемую узловатой в кисти рукой, поползет по отвисшим усам улыбка искреннего, неподдельного восхищения...

⁂

Есть отдаленное, но несомненное сходство с юной, обольстительной красавицей - казачкой у целинной степи, когда после долгой зимней ночи, проснется она ранним весенним утром и торопливо, точно стыдясь

своей наготы, начнет свершать туалет, чтоб предстать потом перед восхищенным взором в чудесном, незабываемо - обворожительном наряде...

Сквозь слежавшийся под снегом тонкий слой полуистлевшей прошлогодней травы, мертвой чернотой своей придающий какой-то хмурый, слегка даже мрачный оттенок необъятным степным просторам, купающимся в золоте животворящих, все более греющих солнечных лучей, — покажется сначала густая зеленая щетинка острой, как иглы, молодой травяной поросли... И, Боже мой! — не успеешь оглянуться, а уж вправо и влево от тебя, кругом, во все стороны стелется серо-зеленый травяной ковер, покрывает собою всю степь и, кажется, конца-краю ему нет... Да и нет! Степь как бы набухла, раздалась, отодвинула горизонты... Вон, где-то там, далеко, в синеватой неясной дымке, еле уловимая, почти неприметная глазу, слитая с небом, ее теперешняя грань.

И эта беспредельность, эта бескрайность степных просторов.., это мреющее под солнцем море серо-зеленых трав, жадно, всеми своими корнями пьющих могучие соки пробужденной к жизни земли; эта извечная, слышимая, звоном в ушах отдающаяся тишина; этот обманчивый покой, в коем чувствуется колоссальное напряжение невидимых, смутно ощущаемых, дающих зарождение и рост, сил: все это потрясает и восхищает одновременно, покоряет и радует до полного восторженного умиления...

Дальше происходит нечто волшебное... Как кокетливая станичная красавица, разодетая по-праздничному в новое хрустящее платьице зеленого ситца, одергивает его, смотрясь в зеркальце и в последнюю, перед выходом «на улицу», минуту щедро накладывает ру-

мяна на и без того прекрасное лицо свое, — степь тоже начинает прихорашиваться и «румяниться»...

Ранним утром над зеленым морем трав нависает легкая пелена недвижного тумана — точно покрывало кудесника со скрытой под ним тайной.

И вот степной кудесник - солнце, с торжественной медлительностью, в вихре огненных, режущих, до боли ослепительных лучей, показывается над краем степи и со сказочной быстротой, преображает все: исчезает, растаяв, туман... Тяжелая от обильной росы трава матовым оловом поблескивает при ярком дневном свете... На ближайших лепестках горят, переливаются перламутром огневые звездочки — то солнечные лучи отражаются в бисерных капельках росной влаги... Ушла предсолнечная хмурь, и ожившая степь купаетс в волнах золотого света, широким потоком льющегося с востока.

Но... что это? На короткий миг взор, рассеянно доселе скользивший по вдумчивым степным просторам, задерживается на каком-то красноватом пятне, ярко выделяющемся на зеленом фоне травы. И уже полный волнующей радостной догадки, пристально начинает искать... Вот еще такое же красное пятно... вот еще... А рядом — рукой подать! — и дальше, — да везде, кругом, куда ни глянь! — несчетные островки распускающихся колокольчиков алых, темно-бордовых, желтых, белых и пестрых — всевозможных оттенков, художественно раскрапленных тюльпанов. Меж ними, менее бросающееся в глаза, нечто нежно-голубое, на чем отдыхает, задерживаясь, взгляд. И сколько его, этого голубого, когда присмотришься! Пожалуй, даже больше, нежели красного с желтым... Ну, да! Так это же фиалки со своими нежными голубыми цветочками и величавая степная красавица — голубая лилия.

Лазоревые цветы! Первые степные красавицы-цветы, навеки вошедшие в казачью песню, при одном воспоминании о коих сладким томлением сжимается грудь, учащенно начинает биться сердце...

Скоро за ними, на Троицу, из окрестных станиц и хуторов, с раздольными, как раздольна родная степь, песнями, с шумным веселым разговором, со звонким счастливым смехом, выйдут ватажки девчат, — без парней! — рассыпятся одиночками по красавице степи, — сами красавицы — и не знаешь уже чем больше любоваться — цветами иль девичьей красой? и до самого вечера будет происходить оживленный, частенько прерываемый дружной песней и невинными девичьими играми, сбор цветов...

Но не одними только тюльпанами, фиалками, лилиями, а попозже — васильками и роскошным пурпурным маком красуется весною степь. Как на пышном восточном ковре затейливо переплетаются всевозможных оттенков рисунки, так и на ней, щедрая природа, широко и богато, не по одному, а целыми пригоршнями, разбросала повсюду великое множество цветов и цветочков — расписала степь всеми красками радуги.

Дикая ромашка дает желто-белый цвет... Белые пятачки ее лепестков густо вкраплены в весеннем цветеньи. Козелец и татарник скромно голубеют своими цветочками над остальной низкорослой травой. Шпарыш-ползунок, на особом утолщенном стебельке высоко выставляет свою ярко-желтую, как будто прозрачным лаком покрытую, цветную шапочку, явно стараясь поднять ее до уровня более высоких травяных соседей... Мягкими сиреневыми крапинками цветет резеда-желтуха... *) Розово млеет пучками невид-

*) Дикий сорт резеды, произрастающий в степях южной Европы и дающий желтую краску. Употребляется в медицине.

ный собою чабрец... И все это переплетается длинными нитями степной повители со множеством мелких цветков - колокольчиков от бело-розовых до темно - лиловых...

Овсюки, разносортная «пырея», шалфей, серый полынок и ковыль; коники, тысячелистники, сурепка и буркун-трава; катраны, оттилеи-корни, метлюки-собачья постель, полынок-чай, простая травка-муравка, чингиска-однолюбка, неуклюжее свиное ушко и поганка — что потом, в летней выжженной степи, «перекатикой» будет гоняться за ветром — все эти и другие неисчислимые степные травы цветут весной неприметно и дают серо-зеленый фон удивительной по мощности, восхитительной по краскам, незабываемой по впечатлению, живописной степной картине...

⁂

Бывает так... Идешь ты, размечтавшись, по цветущей степи. Первые восторги, вызванные нежданной красотой, улеглись. Ты начинаешь уже привыкать к красочному степному пейзажу, усталый немного от пережитого радостного волнения. Взор лениво следит за плавно реющим в небесной сини орлом... В ушах звучит переливчатая трель вездесущих жаворонков... Где-то неподалеку настойчиво свистит суслик... И вдруг тебя обдает легким, еле ощутимым, дуновением откуда-то взявшегося ветерка. И ты останавливаешься, как вкопанный, жадно втягивая воздух. То цветы, воспользовавшись ветерком, как оказией, приветствуют тебя тончайшим ароматным душком...

Но ветерок, так же неожиданно, как появился, пропал. И надо нагибаться, срывать цветы, вдыхать аромат, принюхиваться к каждому из них в отдельно-

сти, чтоб отыскать хоть приблизительное тому, что только что ощутил... Напрасные старанья! Резеда-желтуха пахнет нежным, ей только свойственным запахом... Чеборок — казачья пахучая травка — имеет свой остро-отличительный душок... Запах юшманя не спутаешь с запахом другой травы... Мята испускает крепкий, настойчивый и сильный дух... Полынь — бодрящий, оставляющий во рту горьковатый привкус... А вот такого аромата, каким дохнул на тебя случайно зародившийся ветерок — не найти, сколько ни ищи. Такою редкой, неизъяснимо-приятной ароматной смесью, но в неизмеримо большей степени, можно насладиться только тихим майским вечером...

Степь готовится отойти ко сну. На западном небосклоне догорает пурпурный след, поспешно скрывшегося за краем земли, солнца. На потемневшем, уходящем куда-то в бездну мироздания, небе зажигаются первые звездочки... Молчит, угомонившись, птичья мелкота... И над притаившейся степью, все более и более обволакиваемой сумеречными тенями воцаряется мертвая тишина. Нагретый за день воздух недвижим и дышится им не легко, не свободно, не полною грудью, как на утренней заре, когда дует свежий предрассветный ветерок. Вечерний воздух пропитан насквозь, насыщен до предела тонким, головокружительным, способным вызвать усиленное сордцебиение, почти ядовитым, но упоительным, неповторимым, пьянящим ароматом... И кажется, что все степные цветы, именно в этот вечерний час, одновременно, по немому сговору, сразу пооткрывали свои чашечки и усиленно, во всю меру данной им Творцом силы, выдыхают в эфир каждый, ему свойственный аромат... И кажется еще... Любой степной цветок, — будь то цветок репейника или свиного ушка, — это маленькая кадильница, зажжен-

ная таинственным священнослужителем и из каждой такой кадильницы курится благодарственная, вьется вверх, к престолу Всевышнего, жертвенная ароматная струйка...

Теснится в груди... Непреоборимое томление охватывает тело... Приятно кружится голова, будто выпил ты стакан чудесного янтарного вина или выкурил папиросу крепчайшей, изысканной смеси из лучших сортов табака... Прилечь бы, поваляться... Устал? Отдохнуть? Нет.., так.., просто понежиться, помечтать, посмотреть на бездонное черное небо, посчитать звезды, по-особому крупные и иначе яркие на южном ночном небе... Вслушаться в ночную тишь и в немой разговор цветов, вникнуть в этот весенний любовный угар, в коем томится и для него одного только и живет своей короткой жизнью каждая степная былинка...

⁂

Со дня на день солнечные лучи становятся все горячей. Скоро они начнут палить немилосердно и в полдень, когда тени от тебя почти нет, небезопасно оставаться с непокрытой головой — может «шибануть мороком»... Чаще дуют ветры, хотя небо, попрежнему, лазурно-чисто, без единого облачка. Носится в воздухе белый пух от сорванных ветром шариков одуванчика...

В степи большие перемены — исчезли цветы. Каждая отяжелевшая, утратившая свой яркий зеленый цвет, чуточку подсохшая травка наливает сейчас земляными соками плод, зачатый ею в недавнем хмельном любовном угаре... Исчез, почти начисто, и серо-зеленый травяной ковер, — его заменяет теперь необозримое белое море зреющего ковыля.

Величественное зрелище!

Сильный ветер мощными порывами, вал за валом, темными издали рядами, клонит ковыль до самой земли... Не успевает ковыль выпрямиться, а уж новый порыв снова бросает его на землю. И так без конца, без передышки, в тщетной погоне друг за дружкой, бегут травяные волны обеспокоенного ковыльного моря. Куда только достигает глаз, всюду эти колеблющиеся, все в беспрестанном движении, «вспененные», так похожие на море, степные просторы... Этим разительным сходством немедленно пользуется услужливое воображение... Уже плывут, разрезая носами встречную волну, острогрудые казачьи струги. Вот первый струг... Легкий косой парус надут до отказа... У невысокого шеста-мачточки, широко расставив ноги, руки — вбоки, в длинном кафтане синего сукна, туго стянутом в талии узким наборчатым ремнем, с висящей на нем, золотом отделанной, саблей, в высокой, остроконечной, черной курпейчатой папахе, со спадающим на бок верхом красного сукна с золотыми, крест на крест, позументами, кряжистый, густобородый судовой полковник... Сзади него, взор устремив вперед, боком сидит и крепко держит правило рулевой казак... А вдоль бортов пять десятков добрых молодцев — донских казаков... Бабайки-весла убраны, ветром плывут — раздолье! — за плечами у каждого длинная пищаль, на боку неизменная сабля... Берегитесь турецкие султаны! Готовься, прославленная Порта, встречать гостей, нежданных, негаданных! Ковыльная степь бросает тебе гордый вызов: легким стругам ее детей не страшна твоя неповоротливая грузная армада...

Неясные образы, без четких контуров, неоформленные, проносятся перед взором. Мысль, встревожен-

ная новой, расстилающейся перед тобой стихийной красотой степи, ищет иных сравнений, перебирает в памяти ранее виденное, хотя бы в отдаленной степени напоминающее действительность... И находит, но в другом, не зрительном восприятии.

Какой-то странно знакомый, слегка шелестящий шум... Свист ветра в ушах на короткий миг заглушает его. Но вот он снова зарождается, постепенно нарастает, приближается все ближе... Чтоб лучше слышать — ты закрываешь глаза... И, внимая этому тихому, но ясно теперь различаемому шелесту-шуму, ты видишь высокий морской обрыв, у подошвы его узкую полоску пологого берега и катящуюся на него, бело-гребенчатую, разливающуюся до самого утеса и шумящую таким же вот шелестящим шумом, волну... Отдаленный шум морского прибоя напоминает собой шелест-шорох валящегося под порывами ветра ковыля.

⁂

Хорошо в солнечный летний день идти по целинной степи с ее живым, волнующимся от суховея, травяным покровом. Ты спокоен. Уснувшее воображение уже не реагирует на привычные взору картины. Все, что ты видишь, давно, с первой встречи, пережито, перечувствовано, усвоено, оценено по достоинству. Идешь по знакомым, «обжитым» местам, чувствуешь себя, как дома. До тех пор, пока чуткий слух не уловит сквозь дуновение ветра еле ощутимый, почти кажущийся, шорох-шелест-шум ковыля. Пропал тогда покой! Становится ясным, шум ковыля — единственное не понятое, не уясненное тобой до конца... Вспоминаешь, какое впечатление произвел он на тебя вначале... Морской прибой... Шуршание по прибрежному гравию

расплескивающейся морской волны... Очарование, охватывающее тебя, когда слушаешь ритмический, то усиливающийся, то замирающий шорох-шум ковыля. Все это так, но это не все. Сходство чисто внешнее, звуковое, хоть и поразительное. И ты убежден: есть что-то новое в этом, ласкающем слух, шелесте-лепете ковыля, не открытое еще тебе до конца, как-бы недосказанное... Вот именно, недосказанное! Ну-да, ясно - ведь, ковыль о чем-то рассказывает! Как это не пришло в голову раньше?

И уж нет больше желания продолжать спокойную прогулку по степи... Ты останавливаешься, потом приседаешь на корточки и в таком неудобном положении долго вслушиваешься в тихий ковылий шорох - шелест-шум...

О чем шуршит-шелестит-лепечет ковыль? О чем ведет он этот неумолчный, скрытый от тебя по смыслу, но почти понятный по настроению рассказ, в коем ощущаешь ты и тихую печаль, и робкую жалобу, переходящую в горячий, грозно-щипящий протест, и радость утверждения какой-то непреложной, ему одному известной истины? И кажется тебе — вот-вот должно произойти нечто необыкновенное, из ряда вон выходящее, что сразу положит конец всем твоим исканиям и даст исчерпывающий ответ на все вопросы: о чем печалится ковыль, на что жалуется, против чего протестует и что утверждает...

Увы, происходит то, чего меньше всего можно было ждать — резкая боль в ноге гримасой отдается на лице и ты лишний раз убеждаешься, что нельзя безнаказанно долго сидеть на корточках... В досаде ты бросаешься навзничь и, подложив под голову руки, стараешьея снова уловить прерванный шелест — рассказ ковыля... А-а, вот он!

Перед глазами у тебя гнутся от ветра стебли травы... По одному из них неторопливо ползет зеленая букашка... Вверху по синему небу несутся перистые облачка... Тебя уже не овевает прохладный ветерок, скрывает трава, и солнце начинает сильно пригревать... В истоме ты закрываешь глаза, — музыка шелестящего ковыля сразу усиливается... И скоро тебя охватывает странное состояние полусна — полубодрствования. Изо всех звуков до твоего слуха доходит только шум ковыля, — но шум ясный, отчетливый, с разными оттенками — от тонкого, слегка свистящего, похожего на продленное хихиканье — будто ковыль смеется, до громкого, шипящего — будто ковыль, наоборот, сердится... И о, чудо! Всем существом твоим ты ощущаешь вдруг, что тебе становится понятным все, о чем шелестит — рассказывает ковыль. Все, все понятно тебе в этой удивительной травяной речи! И ты замираешь, боясь пошевелиться, чтобы не пропустить ни единого слова... Жадно, с упоением слушаешь убаюкивающий шум - говорок ковыля, то смеющийся, то горячо в чем-то убеждающий, то затихающий до еле слышного шопота... Странно знакомым кажется тебе этот журчащий, как ручеек, ковылий сказ. Будто твои собственные мысли, получившие иное выражение, возвращаются к тебе и от этого становятся в стократ более глубокими и убедительными...

Попытаться перевести ковылью речь на бедный наш человеческий язык?

Трудная, непосильная задача! Получится бледное отражение этой речи, жалкий ее пересказ, в какой-то степени могущий удовлетворить любопытство пытливого разума, но никак не могущего взволновать сердце и пробудить ответный отклик в душе. Придется, ведь, отнять у травяной ковыльей речи самое главное — ее

музыку, какою она овеяна вся, от начала до конца, всю эту волшебную, постоянно меняющуюся, гармонию звуков — от шелеста травы до свиста ветра в ушах, — вместе с нею составляющую единое нераздельное целое и требующую к себе самого бережного отношения. А отнять придется, ибо разве возможно выразить музыку в словах? И в результате будет то же самое, что бывает, когда от хорошей старинной казачьей песни отнимают ее мелодию. Что остается от очарования песни, только что захватывавшей нас и волновавшей до слез? Почти ничего, «ой» да «ну» и другие такие же бедные слова, мало говорящие уму и уж никак не волнующие сердце...

Единственное, что можно сделать, это попытаться, хоть вкратце, в нескольких словах, перевести на понятный людям язык те наиболее волнующие места из бесконечной ковыльей речи, где ковыль говорит о самом себе и о своей трагической судьбе. И вот что получается — приблизительно... о, приблизительно! — в переводе:

... Хи-и-и.., хи-и-и.., хи-и-и... Странный ты, человек, самое разумное изо всех, когда-либо населявших степь, существ. В первый раз вижу такого. Бродишь ты целыми днями по степи и все что-то высматриваешь, ко всему прислушивнешься... А многое ты понял из того, что увидел и услышал? Немногое, немногое, поверь мне...

... Я, древний ковыль, извечно стар, — седина моя да послужит тебе доказательством этого! — видал и слышал неизмеримо больше твоего и мог бы, если бы захотел, рассказывать тебе обо всем до самой моей смерти в этом году... Что? Ты удивлен, что я тебе говорю о своей смерти? Я употребил это слово, чтобы тебе было понятней — ведь, многие люди думают, что тра-

вы обязательно умирают зимой... Для меня, одной из древнейших степных трав, до сих пор смерти не существовало. Говорю — до сих пор, потому что... Но об этом после... Вот, дозрею и уйду мелкими зернами в землю. А следующей весной, если будешь жив, приходи, снова найдешь меня здесь...

... И так было всегда. В с е г д а — можешь ты уразуметь это? Ох, боюсь, что нет! У вас имеются понятия — года, десятилетия, века, тысячелетия, эры... Так вот, род мой тянется через все эти ваши века и тысячелетия... Можешь представить себе, что мог повидать я на таком своем веку?

... Я помню время — о, как давно это было! — когда в степи росли одни травы. Травы были тогда высокие — выше твоего роста и стебли у них были толщиной в твой палец... Мне, ковылю, было тогда плохо — глушила меня более высокая трава. Приходилось расти отдельно, особой ковыльей семьей. И было так: кончалась высокая цветущая степь и начиналась серо-зеленая, более низкая, ковыльная...

... Я помню время, когда появились в степи первые, как вы говорите, живые существа — как будто мы, травы, не живем! Сначала мелочь всякая — летающая и ползающая: букашки, мухи, комары, мыши, крысы, ящеры, ужи и змеи... Потом прилетели пернатые, большие и малые — от «иванеюшки» — степного воробья до гордого степного орла — их ты и сейчас видишь...

... Звери повелись в степи гораздо позже — кроме сусликов, хорьков, зайцев, волка и лисы были в великом множестве и дикие кабаны, и зубры, и олени, и тарпаны-дикие лошади... Все это мешало нам спокойно расти, все это дралось, грызлось, враждовало меж-

ду собой... Слабые гибли, силные торжествовали, пока их не уничтожали еще более сильные...

... И вот, появились, наконец, в степи первые, такие как ты, люди...

... Знаешь, человек, что я тебе скажу? Из всех существ, когда-либо появлявшихся в степи, самыми умными, самыми сильными, но и самыми жестокими и злыми оказались... люди! Ш-ш-ш!.. Да-да! Самыми жестокими и злыми! От них пострадали все! Ш-ш-щ!.. Исчезла крупная птица... Найдешь ты сейчас дрофу? Есть еще, говоришь, дудаки? Есть, есть... десяток какой-нибудь на всю степь... Куда подевался крупный зверь? Дикий кабан, зубр, олень, тарпаны, что стадами и огромными косяками жили в степи? Всех их перевели, уничтожили или заставили служить себе люди.

... Заметь — мы, травы, от этого выиграли — нас меньше стали поедать все эти четвероногие твари. Но и от двуногой твари, от человека, нам стало, в конце концов, не легче. Вначале, — это было не так давно, две-три тысячи лет тому назад, — особого вреда от людей для степи не было. Правда, когда они передвигались, — а передвигались они часто и всегда в большом числе, — много мялось травы под копытами прирученных ими лошадей, но это было не так страшно. С трудом, но травы все же выпрямлялись и могли после жить положенный им срок — гибли только съеденные лошадьми. Хуже было, когда гоняясь друг за другом, — надо тебе сказать, что люди, как и звери, все время дрались между собой, — они зажигали степь... Это было ужасно! До сих пор без трепета не могу вспомнить о степных пожарах!

... Ну, а совсем недавно, всего несколько сот лет тому назад, целинной степью окончательно завладели твои предки-казаки, жившие дотоле в других, не степ-

ных, местах. С тех пор, я, древний ковыль, живу в постоянном трепете за свою судьбу! Да! Я ясно вижу тот день — и он недалек! — когда меня безжалостно выробут с корнями и навсегда, на веки вечные, накроют землей... Как это грустно! При одной мысли об этом у меня стынут соки в стеблях... Щ-щ-щ...

... Ты не веришь? Что? Ты не хочешь верить? Увы! Если ты сумеешь прожить еще десяток лет, ты будешь вынужден поверить в мою не временную, но в самую настоящую смерть. Разве ты не замечаешь, что каждый год огромные пространства целинной степи переворачиваются плугом? Разве тебе неизвестно, что на перевернутой земле трава не растет? Растут, как говорят люди, только хлебные злаки. Несколько некрасивых бесцветных трав и то, когда их посеют... Для чего сеют их люди, зачем они косят их летом и собирают их зерна, — это я сам видел, вон она, рядом, хлебная степь! — я не совсем понимаю... Я знаю одно — со смертью целинной степи умрут, вместе со мной — ковылем, самой старой изо всех трав, — и все остальные бесчисленные степные травы. Вместе с нами уйдет из степи все ее обаяние, вся ее неповторимая весенняя прелесть, все то, что так чаровало тебя во время твоих летних прогулок по ее просторам, что навевало на тебя удивительные мечты и заставляло грезить наяву, уйдет то, что помогает не в меньшей, если не в большей, степени, чем хлебные и иные злаки, жить, и чему имя — красота!

⁂

Ты на высоком кургане. Степные грани, ставшие более заметными, как бы придвинулись, подошли ближе. Ковыльное море начинает желтеть. Солнце, не

уставая, жжет горячим огнем землю. Недалеко то время, когда вместо сказочного серо-зеленого травяного ковра, взору представятся унылые степные пространства, тоску и недоумение вызывающие своей поредевшей, бурой, полусожженной травой.

Ветра почти нет — так, слабый суховей.

Ковыль едва отвечает легким покачиванием распушеных головок.

Ты сходишь с кургана, где травы мало, и спешишь к ковылю. Улегшись навзничь, ты старательно укрываешь лицо от солнца. Тебя, разморенного жарой, сразу охватывает полузабытье и ты сразу же улавливаошь знакомую, еле-еле слышную, шелестящую ковылью речь:

... Ты хочешь, чтоб я рассказал тебе о жизни твоих предков?.. Я очень жалею, но мне сейчас трудно говорить... Ветра нет и я не могу шелестеть...

... Ты, однако, не горюй... Если я много говорить не могу — суховея для этого мало, — так я могу другое... Я могу показать тебе твоих предков. Ты увидишь, что они делали, ты услышишь, о чем они говорили, ты узнаешь, о чем они думали...

... Что? Ты хочешь, чтоб я показал тебе всю жизнь твоих предков с самого начала? Чего захотел! Слишком долго будет — уснешь и не проснешься... Нет, нет! Я покажу тебе только кусочек из их жизни... А ты уж потом сам соображай, как и что. На то ты и человек — самое умное изо всех существ, когда-либо населявших степь... Уф... устал... Как покажу? А так... Слушай! Лежи и не двигайся! Чтобы лучше видеть — закрой покрепче глаза!...

... Закрыл? Теперь смотри, внимай и слушай!

ЯРОВОЙ СЕВ.

1. Поместье казака — хлебороба.

Большой, квадратный, без единой травинки, чисто подметенный двор со всех сторон окружен постройками.

По углам, на улицу, жилые помещения. В правом, примыкавшем к узкой улочке, что отделяла его от соседского двора, поместительный восьмиоконный курень под хорошей камышевой крышей и с широкой, свеже ошелеванной пристройкой, выступавшей во двор. В левом углу — невысокий флигель из двух комнат, с беседочкой у входа. Между домом и флигелем, в средней части досчатого забора, старинные, массивные, окрашенные в красный цвет, ворота. Это «подъезд» с двухскатной соломенной крышей и с калиткой в одной из своих половин. Крыша «подъезда» сплошь покрыта шелком зеленого, вросшего в нее, мха.

На трех остальных сторонах дворового квадрата, от куреня к флигелю, тянулись: огромный открытый «возовой» сарай с четырьмя возилками, с будкой на колесах, с длинными яслями или корытом, тоже на колесах — для корма скота во время полевых работ, с пукарем, с плугом, с десятком борон, оралом, кучей ёрм, со старыми колесами... Под прямым углом к возовому сараю, той же, примерно, величины, второй от-

крытый сарай с двумя косилками — травянкой и лобогрейкой — «крылаткой», с двумя легковыми дрожками, длинным солидным разводом — тачанкой, с двумя сеялками — тяжелой-семипудовкой и легкой — четырехпудовкой. В самом конце ряда — веялка. К этому сараю примыкала конюшня для четырех рабочих лошадей. Конюшня делилась на две части, в одной были стойла для лошадей, во второй, чистой половине, висела по стенам и лежала на полу сбруя — хомуты, уздечки, вожжи. Во время краинья, сюда сносились мешки с очищенным для посева зерном, из опасения перепутать его с зерном нечищенным. В самом конце чистой половины конюшни стояли два деревянных ларя с житной и ячменной мукой для свиней и птицы. Около стойл, у задней стены, крутая лесенка на чердак, до самого верха набитый сеном. Ясли - кормушки наполнялись сеном сверху через щель над самыми головами лошадей. Между конюшней и низкой постройкой — «свинухом», лежавшей на четвертой стороне двора, тянулось незастроенное, в десять шагов, пространство. Тут были деревянные, из длинных перекрещенных слег, ворота, ведшие на «скотьи» базы и запиравшиеся клячами. До флигеля постройки были: рядом с упоминавшимся уже свинухом — плитник, полный «плит» или кизеков, сухих дров, поджожек на зимнее время, большой птичник для кур, уток и гусей — куры на насестях, утки и гуси внизу. В задней стене птичника трапп — птице вход на чистый двор строжайше воспрещался и она выпускалась в сад. За птичником высился амбар, сложенный из круглых бревен, насухо и тщательно обмазанных глиной извнутри. Амбар — житница двора. По нем часто судят о достатке хозяина. «Каковы амбары — таковы и бары!» В этом дворе амбар производил хорошее впечатление.

В балагане, пристроенном к амбару — в гораздо более узком и низком строении, — складывались всевозможные вещи, необходимые в хозяйстве — мелкий инструмент, в виде молотов и молотков, топоров и топориков, вил, грабель, лопат, кос, пил, огородных тяпок... По углам лежали воловьи налыгычи, старые — веревочные и ременные — вожжи, стояли банки с маслами, кадки с дегтем, пустые боченки для воды во время полевых работ. Рядом со столиком - верстаком, с насыпанными на нем кучками ржавых гвоздей, ухналей и винтов, лежали, одно на другом, три седла в прекрасном состоянии, почти новых. По тому, как они заботливо были укрыты куском брезента, можно было судить, что седла являлись предметом особого внимания со стороны хозяев.

Погреб, небольшой ледник, колодец с барабаном и два столба с надетыми на них старыми колесами, куда на ночь ставились от кошек черепушки с топленым молоком, были последними в этом ряду. Если не считать начатых постройкой кухни и бани, доходивших вплотную до самого флигеля.

За передним, чистым двором шли «скотьи» базы с поветями по сторонам и яслями посредине. В первом, самом большом — для мелкого скота и холостых коров, — было две повети и ясли были вдвое большими. Был баз для тельных коров, бычатник, конский баз — для маток с жеребятами. За бычатником шел сенник, со скирдами лугового сена. В сеннике к плетням, отделявшим его от фруктового сада, пристроены были легкие крытые помещения для овец, телят-сосунков, для склада половы. Все базы разделялись плетнями с деревянными, из жердей сколоченными, воротами на клячах.

В конце плетня, разделявшего базы и сад, с левой

стороны, был выход на улочку, ведшую к задам. По этой улочке выгоняли скот на пастбище в луга. У выхода, над мелкими сливовыми деревьями, высились четыре больших развесистых тополя. Последний из них, на высоте двух саженей, раздваивался и рос дальше вилкой. Этим обстоятельством практично воспользовался владелец поместья. В самом начале вилки, где ноги раздвоившегося ствола не слишком удалялись одна от другой, он укрепил длиннейшую жердь, толстым концом в сад, тонким к выходу. Пришлось одну из ног вилки просверлить насквозь и во второй сделать глубокую дырку.

— Ничево, заживет, — думал казак, сверля дыры. — А ежели, не дай Бог, помрет — обрежем повыше развилка и вся недолгá.

Старый шкворень от возилки, валявшийся в балагане среди жезелного хлама, аккуратно собираемого и бережно сохраняемого, был просунут в дырки и на нем, поскрипывая, начала вращаться просверленная, ближе к толстому концу, жердь. Остальное было уже легко сделать. На тонком конце жерди повис гладко обтесанный ясеневый шест, подысканный в леваде. К толстому концу, испробовав несколько раз, привязали два камня и журавец был готов.

— Живой! — смеялся хозяин. — И не видно ево середь веток!

Слава - те, Господи, отмучились!

Хозяин был очень доволен. До этого из глубокого, обложенного камнем, колодца воду приходилось черпать при помощи барабана.

... Веревки терлись, выходил лишний расход. Правда - што, можно было орудовать цепью. Но долго-то как! Крутишь - крутишь, «покéль» вытащишь цыбарку. Для двора, у стряпки, оно ничево. А когда

напоить всю скотину надо — тут время терять зарез. То-ли дело журавец! Раз-два-три — и держак с «прицепленной» на крючек с замычкой цыбаркой уж у воды. Дернул вверх — и цыбарка «наруже». Успевай «тóличка» выливать в колоду... Давно бы надо сделать, да все некогда. Рази все поделаешь зараз? К тому-ж, стояк подходящий, штоб с вилкой, не сразу найдешь. А он туточки, готовый... живой. И как это я не додумался с самова начала! Тополя-вить старые, давно стоят. Еще покойный родитель посадил. Вить, вот штука-то!..

За базами, до огорода и узкой полосой вдоль всего поместья, до самой улицы, был сад. В конце, у «живого» журавца, росли сливы. В узкой полосе, двумя рядами, жéрдели. Сейчас же за флигелем и на улицу — три развесистых тутовых — с «тютеной» — деревьев. За базами, кроме слив, росли яблони, дулины, черешни. Густой вúшенник — «вишник» — дополнял разнообразие фруктовых деревьев старого, прекрасно поддерживаемого сада.

В огороде, в этом втором, после стряпки, бабьем «царстве», произрастала вся необходимая для стола овощь, кроме картошки, сажавшейся под плуг отдельно, на отведенном, специально для этого, куске полевой земли. Огурцы, красные яблочки, капуста, лук и горошки, бобы, укроп, сельдерей и петрушка — все было под рукой в огороде. И хозяйки ежедневно часами, до самой осени, копались среди грядок — поливая, пропалывая, прощипывая, пересаживая. Вдоль плетней рядами, высокие, обязательные для казачьего огорода, подсолнухи. Семя их собиралось на масло. В великий пост и в постные дни было с чем поесть дымящуюся в мундирах, картошку. Вкусно и свое, непокупное.

Поливался огород из колодца и это была самая трудная работа. Бабы жаловались, а казаки посмеивались:

— Не по нас эта работа. Дюже чижолая.

— Огурчики любите, а поливать — бабы.

— Да вы, бабы, тоже огурчики любите, — отваживался на шутку казак помоложе.

— Замажь рот, нечистый! Бутта не об чём другом погутарить!

С притворным страхом, грохоча, казак закрывался рукой от наступавшей на него, с угрожающим видом, казачки. Казачка старалась казаться сердитой, но это ей плохо удавалось. В глазах ее веселые огоньки и, не выдержав, она сама разражалась смехом.

Огород заметно удлинял и без того длинный четыреугольник усадебной земли, с его жилыми и нежилыми постройками, чистым передним двором и «скотьими» базами и с его густым фруктовым садом, где, в прохладной тени, по праздникам, его владелцы спасались от летней духоты.

2. Семья Богатыревых.

У Ермила Никанорыча Богатырева большая семья. Сам он — Ермил Никанорыч со старухой Устиньей Федоровной. Старший сын Герасим с супругой Натальей Лаврентьевной. Минай с женкой Василисой Яковлевной. Григорий, третий сын, холостой, в «предбудущем» году надо справлять в полк (... а до́си, может, тоже оженится...). Да пятеро «детишков» — три сынка Герасима, внуки, выходит — Тихон, Никодим и Яков (... Тихон и Никодим в училищу поступили...) и две дочки Миная — Муня и Глашенька (... Глашенька уж полозиить...) Да еще работник из иногородних Алек-

сандр. Выходит, ровным счетом, тринадцать душ. Всех надо прокормить, одеть, обуть. Это, ведь, тоже надо принять во внимание. К тому же, с помещением...

Курень Ермила Никанорыча один из самых больших в хуторе. А поместить в нем всю семью нельзя — оказался мал. Это обстоятельство давно заботило Ермила Никанорыча. И только благодаря его удивительному спокойствию, твердости характера и здравому смыслу удалось избежать семейной катастрофы — ни один из сынов не просился в отдел, жили все вместе, довольно дружно, без скандалов. «В тесноте, да не в обиде», — как говорится. Тесноты, положим, особой не было. До женитьбы Герасима свободно размещались в четырех комнатах. Спали в двух — в одной старики, в другой — все три сына. В стряпке, где всем командовала Устинья Федоровна, ели. За небольшим столом места хватало всем, было-то пять человек тогда. В горницу заглядывали редко, по праздникам и то когда случались гости. С приходом в курень первой снохи немножко потеснились. Минай с Григорием перешли спать в стряпку. А когда собрались женить Миная, Ермил Никанорыч сразу привел в исполнение то, о чем давно думал:

— Напеки-ка мне, мать, колобашек. Денька на два, — сказал он однажды Устинье Федоровне — дело было осенью. — Сальца положи шматок. Поеду у в округ за лесом.

Через короткое время и без того большой курень Богатыревых стал еще больше. Станичные плотники из иногородних умело использовали привезенный строевой лес. К стене куреня, что глядела двумя окошками во двор, в трех шагах от старинных, на улицу, ворот с «подъездом», пристроили они широкий прируб

о два светлых окна, с рундучком и приступочками. Покрыли прируб тесом, ошелевали и сказали, кончив:

— Красить сами будете, коль охота.

— Красить не по нашей части.

Поставили плотникам магарыч. После первого стакана повеселели. Тем дело и кончилось бы, да заглянул, как бы невзначай, сосед, за ним другой. А там, глядь — и сам дорогой сват — Яков Иванович, по своему делу в хутор пожаловал. Ну, и пошло...

Втащили в прируб стол, табуретки, из горницы осторожно, на вытянутых руках — сама Устинья Федоровна со снохой Натальей ходили, — вынесли два венских стула — один для хозяина, на другой усадили дорогого гостя.

— Вить для наших детей стараемся, дорогой сваток — Яков Иваныч! — весело вскричал, обнажая в улыбке крепкие зубы, Ермил Никанорыч. — Для Миная да твоей Василисы.

— Знатная помещенья получилась, — одобрил сват. — За такие, прямо сказать, хоромы не грех и выпить.

— Пей, дорогой сват, сделай милость! Мы... так сказать... от всей души! С нашим удовольствием!

Приехали с мельницы Герасим с Минаем.

И к вечеру из куреня Богатыревых неслись уже песни, прорывался порою веселый смех, слышались выкрики Миная, прямо в чириках и будних шароварах, но в новенькой, недавно привезенной из полка фуражке, с выбивающимся из-под нее роскошным чубом, лихо, под веселую плясовую песню откалывавшего, на свеже настланном досчатом полу, казачка.

— Поддай, Минай!

— Покажи казачью развязку! — подбадривали танцора.

Заботы о размещении семьи и, стало быть, опасения за ее целость, временно, благодаря увеличению куреня, отпали у Ермила Никанорыча. Минай с молодой Василисой удобно устроились после свадьбы в своем углу и всем были довольны.

Но... появились новые заботы.

С великим беспокойством, можно сказать, со смятением душевным, Ермил Никанорыч заметил, что силы его стали стремительно падать и что с каждым днем все тяжелей становился привычный ему труд. Малейшее физическое напряжение вызывало у него непонятную усталость, от усилившейся ломоты в костях трудно стало подниматься по утрам с кровати, он перестал почти есть — аппетит совсем пропал, заметно похудел, начал, как говорится, таять на глазах. О том, чтобы в осеннюю непогоду — в дождь, грязь и холод — пукарить на зяб землю, нечего было и думать. Это обстоятельство сильно его угнетало. К уязвленному самолюбию и задетой гордости примешивалось у него чувство стыда за свою, столь неожиданно проявившуюся, немощь. Стыдно было людей, стыдно перед сынами, шутя ворочавшими пятипудовые мешки, стыдно перед собой. Он, Ермил Никанорыч, никуда уже не годен! Он, без устали работавший до сих пор, почти не способен на такой пустяк, как надергать сена и раздать его скотине! Пустяк, не считавшийся даже работой, делавшийся походя, настолько это было легко. Первое время, напрягая остатки сил, Ермил Никанорыч пытался бороться со свалившимся на него несчастьем. Крепился, превозмогал все, старался, в особенности, не показать, что ему тяжело и что он безнадежно стареет... А потом старил сдался. И прямыми виновниками эцой капитуляции были его сыновья.

Герасим, как и его «брательник» Минай, только

цветом волос — оба они были светлорусыми блондинами — походили на своего родителя. В остальном — фигурой, лицом, манерами, — сильно от него разнились. Оба они были более рослыми, более широкими в плечах, оба были крепко сложенными молодцами, с уверенными и ловкими движениями. Тяжелая, но правильно поставленная, домашняя работа с детства развила их мускулы. Полк привил им ловкость, отчетливость, какую-то законченность во всех жестах, еще более усилил, в самой природе их заложенную, знаменитую казачью «ухватку». Лица у обоих были круглы, а не продолговато-иконописны, как у Ермила Никанорыча. Отсутствие у обоих бороды еще сильней оттеняло эту разницу. Нравом, как и лицом, братья походили скорей на Устинью Федоровну, унаследовав от отца только серьезное отношение к труду. Оба были весельчаками от природы, хотя Герасим меньше балагурил, нежели «курносый» Минай, был более сдержан и менее горяч. Очевидно, сказывались года — Герасиму перевалило за тридцать.

В общем, по отношению к своим старшим сынам, Ермил Никанорыч выявлял некую противоположность, главным образом, в характере. Что бросалось, прежде всего, это серьезность Ермила Никанорыча. Умел и он посмеяться, но всегда в меру. Не любил «тачать лясы», слово берег, но сказанное было твердо и он его никогда не нарушал. Его уважали за спокойствие и вдумчивость. Какие бы обстоятельства ни приключались, никогда он не воспламенялся и не «лотошил». Был очень религиозен и исправно посещал по праздникам церковные службы (в хуторе была церковь, училище и казенная винная лавка). В этом он очень сходился с Устиньей Федоровной. Обилие икон в курене — их было двенадцать, — говорило само за

себя. Был очень бережлив. Недоброжелатели, — находились и такие, как у всех, какой бы ни выл человек, — называли его даже «жилой». Но это было неверно. О том, был ли Ермил Никанорыч скупым, надо было спросить его детей — никто из них, включая и снох, на скупость старика не жаловался. Когда было надо, Ермил Никанорыч ставил рубль ребром и никогда об этом не жалел.

Что касается ухватки, была у Ермила Никанорыча и ухватка. Не яркая, бросающаяся в глаза, показная, как у его собственных детей. Его ухватка была совершенно другой, какой-то спокойной и незаметной на первый взгляд. Но об этой житейской ухватке Ермила Никанорыча ярко свидетельствовали все хозяйственные постройки, как на чистом дворе, так и на скотьих базах. Поместье Богатыреоых было одним из лучших во всем хуторе. Не по «финтифлюшкам» разным, а по добротности, аккуратности, чистоте и порядку.

Относительно Гришатки многого сказать нельзя. Это был молодой казачек, как все его хуторские одногодки, еще не сложившийся. Не глупый парнишка, но и не блещущий особым умом. Всегда весел, довольно смазлив, любитель «поиграть» песни и пощипать девчат. Внешне он шел в семейную породу, но солидности еще не приобрел — был он по-юношески «жидок», хотя и строен. Как все в семье — блондин.

Так вот, Герасим, однажды, когда Ермилу Никанорычу сильно неможилось, окинул осунувшегося отца смеющимся взглядом и шутливым тоном произнес:

— В кроватку, папаша, вам надо. Припарочков надо заказать мамаше.

А потом, посерьезнев:

— Такое дело, папаша. Мы с Минаем и Гришаткой

порешили: мы в полях, а вы с мамашей — по-домачности.

— Ты меня, сынок, не хорони, — одними глазами улыбнулся Ермил Никанорыч. — Я еще крепкий.

— Крепкий не крепкий, а надо решать по нашему. Годочки ваши не такие, чтобы хрéбет гнуть.

В душе Ермил Никанорыч был тронут решеньем сынов. Но не сдался сразу, резоны начал выставлять против.

— Хрéбет... Не в хрéбте дело, — медленно, как всегда, заговорил он. — Гнул я ево всю жисть и еще, Господь даст, погну. А-вот, как же с управкой-то? Вить, сорок десятин! Это, Герась, не шутка.

— Управимся, — твердо сказал Герасим и сразу стало ясно, что братья крепко порешили освободить отца от работ.

— Я знаю, вы у меня молодчики, — уже широко заулыбался Ермил Никанорыч. — Но надо все это обдумать хорошенечко. Сразу так, не годится.

— Вот, что я думаю, — серьезным тоном заговорил старик. — Конечно, я начал уставать, — при этом невольном признании он поморщился. — С другой стороны, работы-то сколько! Уменьшить посев? Не годится. Дело идет, пущай идет. Придется, Герась, нанимать работника. Гришатке скоро в полк. Что-ж, на двух сорок десятин?

На том и порешили.

Но тут снова встал вопрос с помещеньем — не в стряпке же спать чужому человеку? И снова Ермил Никанорыч проявил обычную ему решительность. В одну неделю, те же станичные плотники, использовав оставшиеся от прируба пластины и доски, приспособили летнюю кухню — как раз напротив прируба, — под вполне удобное жилое помещение. Правда, пришлось

пожертвовать банькой. Под нее, когда-то, Ермил Никанорыч, большой любитель попариться, отвел часть кухни, с окошком во двор. Тут теперь получилась маленькая спальня.

О баньке старик очень «жалковал». Но поразмыслив, пришел к выводу, что баньку, ведь, можно построить новую. Место есть — от бывшей кухни, теперь «флигалькя», до балагана двадцать шагов — Ермил Никанорыч только-что убедился в этом. Саманóм разжиться не трудно. Самим можно и сложить. Кстати, можно восстановить и летнюю кухню. Не париться же бабам летом в курене?

Осталось решить вопрос, кому вселиться в новый «флигалек»: работнику ли, пожилому, спокойному, видно, человеку из иногородних, по имени Александр, недавно нанятому, или кому-либо из семейных сыновей? Ермил Никанорыч был того мнения, что флигелек из двух комнаток подходил скорей семейному человеку. Кого же переселять? Герасима или Миная? Ермил Никанорыч поставил вопрос на семейное обсуждение. На этом семейном совете выявилась спайка и общая терпимость всех членов семьи. Единодушно, из-за детей, порешили во флигеле поместить Герасима. Минай с Василисой должны были занять его комнату. Василиса была очень довольна — из окна нового их помещения открывался прекрасный вид на сады и огород соседа. В прирубе же, расделенном пополам, поселили холостяков — Григория и работника Александра.

Так постепенно, удовлетворяя, по возможности всех, шел к главной своей цели Ермил Никанорыч — сохранить до своей смерти семью такой, какой она была сейчас. После же смерти пусть делятся. Каждому

хватит, будет с чем каждому начать жить самостоятельно.

Не во всех казачьих семьях наблюдался такой мир и согласие, как в семье Богатыревых. Часто происходил распад еще при жизни главы семьи. Уходили в отдел молодые казаки, не совсем опытные в ведении самостоятельного хозяйства, но горевшие желанием поскорей «попытать собственного счастья». Если при выделении удавалось сохранить добрые отношения старики помогали, чем могли, отделившимся — и материально и добрым советом. Тогда семейный мир не нарушался. В большинстве же случаев расходились из-за тесноты. Не хватало места, ни у кого не было угла, куда можно было бы приткнуться, все поневоле наступали друг другу на ноги. А чаще всего распадалась семья из-за несогласия женщин. Бывали случаи, когда расходились по поводу одного неприятного, в сердцах брошенного, слова. Если ссоры между невестками не выносили сора из куреня, благодаря умеряющему влиянию мужей, несогласие между свекровью и невесткой нередко лежало в основе многих, иногда очень тяжелых, семейных драм. Свекровь и сноха! Если свекровь и сноха хорошо живут — в закромах полно пшеницы. Смысл этой поговорки такой — и он, по существу, верен: если свекровь и сноха не ладят между собой, то распад семьи и общее обеднение неизбежны.

Народная молва всю ответственность за несогласия между свекровью и невесткой, обычно, валит на свекровь. Это свекровь, злая старуха, от зависти к молодости и красоте снохи, отравляет ей жизнь, ни на минуту не оставляет ее в покое, следит за каждым ее жестом, глумится, к месту и не к месту, над ее неопытностью, давит на нее всей тяжестью своего авторитета.

Так и слышится насмешливый, скрипучий голос свекрови:

— Ну и глупенькая же ты, моя сношенька. Все у вас в семье такие, как ты? Ка-бутта нет. Нюшка куда шустрей. И Семен, брательник твой, тоже не дурной. Не-е... Думается мне — одна ты такая. Сваты, слава-те Господи, люди с понятием. Почет и уважения... А вот до́чушка их... до́чушка, видать, не в них. А мы теперича хучь плачь. Жалку́й да расхлебывай...

Ермил Никанорыч и не подозревал, каким он был счастливым человеком, женившись на Устинье Федоровне. Всю жизнь была она преданной ему помощницей во всех его делах, и в поле и по-дому. Здоровая, «кругленькая», «сдобненькая» в молодости, с доверчивым открытым взглядом больших серых глаз, она не была красавицей в обычном понимании этого слова. Брови у нее были, как самые обыкновенные брови, а «не тонко очерченные дужки бровей», нос тоже обыкновенный, слегка вздернутый, что безошибочно указывало на некую легкость в характере. Характер у Устиньи Феодровны, действительно, был легким. Не в том смысл легкости, какой ему, при желании, можно придать. Устинья Федоровна, при всех решительно условиях жизни легко, как-то естественно, уживалась со всеми. Эту черту своего характера она донесла до самой старости. Неизвестно, что сталось бы с Устиньей Федоровной в другой жизненной обстановке, но здесь, в глухой степи, среди людей с одинаковыми интересами и запросами, она, несомненно, была милым приятным человеком. Может быть, глядя на свою старшую сноху — Наталью, молодую красивую казачку, полную сил и здоровья, она испытывала зависть? Как созданная народной молвой злая свекровь? Не похоже. Легкое и, в сущности, естественное сожаление,

что собственная жизнь проходит? Что сил с каждым днем становится меньше? Что не доступны уже та беззаботность и живое восприятие всего, сулящего какую либо, даже самую маленькую, радость? Возможно. Во всяком случае, Устинья Федоровна никогда, ничем — и особенно самой Наталье, ничего из этого не показала. Отношения между двумя женщинами — старухой и молодой, свекровью и снохой, с первых же дней сложились самые лучшие.

Наталья по характеру подходила Герасиму. Веселая, беззлобная на шутку, сама любившая пошутить, с острым языком она часто подтрунивала над Герасимом, но по какому-то внутреннему чутью, никогда не переходила границ. В особенности, в своих отношениях к свекору и свекрови. Наталья вышла из хорошей семьи, не знавшей нужды, воспитание получила, с казачьей точки зрения, правильное. Приучена была с детства ко всем женским работам, любила готовить в стряпке, к старшим, без разбора, относилась почтительно. Что еще спрашивать от девки? Пришла она к Богатыревым не бесприданницей, с этой стороны она не боялась упреков. Но все же сердце ее сжималось при мысли о новой семье. Как ее примут? За Герасима она вышла по любви. Недолго размышляла, когда загоревшийся любовным жаром казачек поклялся быть «верным до гроба» и запросился под венец. В Герасиме Наталья была уверена, этот ее не обидит. Но вот старики? Ермила Никанорыча она уважала и побаивалась. Почему-то ей казалось, что старый казак больно строг. Такому трудно угодить. Такой всегда найдет причину быть недовольным. То же со свекровью — Устиньей Федоровной. О ней Наталья слыхала много хорошего, но сама ее мало знала. Часто видала в церкви, но ни разу, до сватовства Богатыревых, с ней не

разговаривала. Велики были ее удивление и радость, когда в первые же дни по переезде в новую семью, она убедилась, что все ее страхи были напрасны. Она скоро открыла, что Ермил Никанорыч, хоть и казался строгим, на самом деле был добрым, отзывчивым человеком и все, что говорилось о нем плохого, было неправдой. С Устиньей Федоровной дело обернулось еще лучше. Было тут нечто взаимное. Обеих, по несомненному сродству характеров, потянуло друг к дружке. Не прошло и недели как свекровь души не чаяла в «Наталочке», самим Богом ей данной «дóнюшке». Наталья без размышления отдалась первому впечатлению, приятно поразившему ее при входе в курень Богатыревых. Свекровь обняла ее по-матерински, крепко расцеловала и, припав на короткий миг к ее плечу, вдруг расплакалась.

— Маменька, да что это вы? — спросила взволнованная Наталья.

— Ничево, ничево, дочька. Так... Пришло на ум — ни одной дочечьки не послал мне Господь. Все казаки у меня. А так хотелось девченочку поиметь!

В словах свекрови было столько грустного сожаления, что Наталья еле сдержалась, чтобы самой не расплакаться. Немножко робея, она сказала:

— Я буду вам, маменька, как рóдная дочь.

И с этой минуты на всю жизнь полюбила Наталья свою свекровь Устинью Федоровну. За месяц до ухода Герасима в полк Наталья разрешилась мальчиком. При крещении нарекли его Тихоном.

Наталье предстояло перенести жестокое испытание — невеселая доля всех девчат, выходящих замуж за малолетков — почти три года ходить в жалмерках. Почти три года ждать возвращения милого человека, болеть о нем душой, мучиться самой, глушить свои,

такие естественные, порывы и желания, только что разбуженные к жизни. Переносить насмешливые, жадно - любопытные взгляды парней.

— Ну, как, жалмерка, терпишь? — казалось спрашивали эти взгляды. — Подай знак, если надоело...

Первый год отсутствия Герасима прошел для Натальи под знаком материнства. Вся, без остатка, отдалась она этому могучему всепоглащающему чувству. Она, Наталья, уже мать! Давно-ли то время, когда наедине по ночам предавалась она смутным девичьим мечтам о том, что наступит день, когда и у нее, как у всех, появится свое «дитё», что она будет, как все, кормить его своей грудью, целовать, миловать, пестовать! А тут вот он, перед ней, тянется рученками, сучит ноженками, «гУлит» о чем-то, улыбается миленький, малюсенький казаченочек! Вырастет — урядника заслужит. Домой из полка придет — в ноги ей, матери своей, до самой земли поклонится... И скажет: «Дорогая родительница наша, Наталья Лаврентьевна». Ух! И Наталья радостная, с непроходящей улыбкой, так оживлявшей красивое ее лицо, с горящими от румянца щеками, прижимала к ним по очереди щечку сынишки, целовала его крошечные рученки, не перестававшие «сучить».

Чтоб избежать пересудов, Наталья решила никуда не ходить — ни на «улицы» весной и летом, ни на посиденки осенью и зимой. Бывшие подружки ее и молодые бабенки, при редких случайных встречах, сначала недоумевали — в чем дело? Потом обижались и сердились — загордела, гребует, выколашивается... А под конец, кое-кто из них, открыто стали посмеиваться. Наталья, к счастью для нее, так и не узнала почему смеялись разобидевшиеся девчаты. Узнал об

этом Минай. Один из его годков в упор спросил его как-то на очередной улице:

— Правда, Минай, что ты ночуешь с Герасимовой Натальей?

Годок получил ответ в виде сокрушительного удара кулаком по лицу.

— Да... да ты... што!

А рассвирепевший Минай тряс изо всех сил парня, схватив его за ожерелок рубахи.

Их разняли, допытывались — в чем дело.

Минай кивнул в сторону смущенного парня и процедил сквозь зубы:

— Пущай он скажет.

Годок молчал. После этого случая никто больше не смеялся при встречах с Натальей.

С Минаем у Натальи установились приятельские отношения. Она любила расспрашивать его о девчатах, допытывалась кто с кем водится, предвидится ли вскорости какая свадьба.

— Не-е, никаких свадьбов, — с ухмылкой, как всегда, отвечал Минай. — Все твои подружки — все дочиста! — кулю́кают в девках.

— Када же ты, Минай, оженишься? — спрашивала, смеясь, Наталья.

— А мне што, — ухмылялся Минай. — Я всегда готовый, хочь завтра. Да вот девки по себе не найду.

— Поищи из городских какую.

— Да ну их... городских! У нас и своих невпрóворот.

— Мне покудова и так хорошо, — посмеивался Минай. — Вот схожу на службу, тада и оженюсь.

— Так оно будет лучше... — задумчиво проговорила Наталья и вздохнула.

Ровно через год пришел на побывку Герасим.

Ровно через девять месяцев после этого Ермил Никанорыч, довольно усмехавшийся в бороду, отписывал Герасиму в полк: «у Натальи твоей радосная сабытия народился у ней другой казачек име ему Никадим». Якову, третьему сынишке Натальи, повезло — родился он в присутствии отца через месяц после его возвращения со службы, через девять, когда отец во второй раз вернулся в полк из повторной своей побывки «в родительских куренях».

Минай и в самом деле женился по возвращении со службы, как он о том шутя говорил Наталье. Нашел девку по себе не в станице, куда Наталья советовала ему направить свои поиски, но и не в своем хуторе, где, по его словам, девок было «невпрóворот». Василиса была из соседнего хутора и была она единственной дочкой зажиточного казака — Якова Ивановича Зерщикова. Всем Богатыревым новая сноха приглянулась, сразу пришлась по вкусу. Миловидная, темноволосая, невысокая, худенькая, стыдливая — то и дело щеки ее вспыхивали румянцем, когда при ней отпускались вольные шуточки, застенчивая на людях. Не легко вступала в разговор с людьми мало ей знакомыми. Разговаривая с ними, не знала куда деть руки. То мяла ими утирку, засовывая ее потом за обшлаг рукава, то беспомощно опускала их. На нее, растерянно стоящую с опущенной головой, с безжизненно упавшими руками, жалко было смотреть. Но вот она приходила в себя. С заметным усилием, с робкой улыбкой поднимала на собеседника взор и... чудо! Мгновенно рассеивалось невольно зародившееся против нее предубеждение, навеянное чрезмерной ее застенчивостью. Какие глаза! А! Теперь понятно, почему Минай выбрал себе в подруги на всю жизнь именно ее — робкую, стесняющуюся, стыдливую, «тоненькую» Васи-

лису — Васянку по-уличному. Какой-то особый, неизъяснимый, мягкий и чарующий свет излучался на собеседника, кто бы он ни был, когда Василиса поднимала на него взор своих больших темно-карих глаз. В этом взоре каждый мог читать, как по писаному. Им Василиса в короткий миг выражала все, что не могла выразить словами. И ее понимали все, ей все прощали и ее, за лучистый взор больших, ласковых, темно-карих, говорящих глаз, любили все.

Минай был на верху блаженства. Герасим подсмеивался над очумелым от любви братом, но к Василисе относился очень внимательно и был с ней неизменно ласков.

Наталья, как натура более сильная, немедленно покорила младшую невестку и, покорив, взяла ее под свое покровительство. Робкая от природы Василиса легко поддалась влиянию Натальи и ниразу не пожалела об этом.

Добрая Устинья Федоровна боялась одного, как бы мир да лад, установившийся в семье, не был нарушен. Но, благодарение Господу, все шло по хорошему — снохи подружились, а это главное, остальное придет. Успокоенная старуха передала стряпку Наталье и с большой деликатностью давала советы Василисе, менее искушенной в приготовлении еды нежели Наталья, ни в каких советах уже не нуждавшаяся.

А Ермил Никанорыч все прикидывал да расчитывал.

... Рабочих рук полный курень. Трое сынов — казаки добрые! — работнил Александр... Оа сам, Ермил Никанорыч, хоть и старик, еще в силáх. В случае чево, всегда готов оказать помощь. Две бабочки.., — при мысли о снохах Ермил Никанорыч улыбнулся и утвердительно закивал головой, как бы одобряя что-то,

— ... эти хоть и с детишками.., — мысль о детишках заставила его улыбнуться вторично и несколько раз, влево и вправо покачать головой — признак удивления и крайнего довольства, — ... эти хоть и с детишками, а все-ж по очереди, а то и вместе, обеи зараз, глядишь и подмогут... За детишками посмотрит Устинья, ей только и делов теперича...

По расчетам Ермила Никанорыча выходило, что если сыны будут так же дружно жить, как до сих пор, то через год можно будет приарендовать еще пай земли.

... В станице гулящих паев сколько хочешь... Сколько таких — нарезают им паи, а они по городам живут, ничего не делают... Ну, это... как Бог пошлет... Поживем, как говорится, увидим. А сейчас...

Богатыревы обрабатывали сорок десятин земли — тридцать две своей паевой и восемь арендной. Двадцать десятин ежегодно засевали пшеницей, десять пускали под «гирьку», упорно не почитавшейся казаками — хлеборобами пшеницей, пять под жито, на откорм свиней и питание птице и все, что давал посев пяти последних десятин — трех с ячменем и двух с овсом, шло исключительно на корм лошадям.

Чтоб обработать сорок десятин, Богатыревы имели четыре пары быков и четырех рабочих лошадей. Из последних две, вместе со своими хозяевами побывали на «действительной» и теперь обе, как и их хозяева, числились в строевом запасе.

Был у Богатыревых и другой, не рабочий скот: две кобылицы со стрыжаками — двухлетками и сосунками - жеребятами, ходившие в табуне, восемь тельных коров со всем их приплодом — телушками и бычками, двухлетними и «этово года», два барана с двадцатью матками-овцами.

Ко всему этому надо прибавить большое, точному учету не поддающееся, количество кур, десяток-другой уток, несколько гусей — крикливое, прожорливое, то увеличивающееся, то уменьшающееся пернатое царство Устиньи Федоровны.

Хозяйство это, по казачьему масштабу, среднее — на хуторе было не мало хозяйств более крупных, — требовало неослабного труда. И у Ермила Никанорыча, создателя и организатора этого хозяйства, было не мало забот.

3. Весна идет.

В последние дни февраля стало ясно, что зиме пришел конец. Снег держался, но морозов уже не было. Утра вставали в лохматых туманах, по-зимнему было зябко, но чувствовалось, что все это ненадолго.

Дунет ветер, сорвет туман, откроет высокое небо, неделями скрывавшееся за непроницаемой пеленой грязно - серых, низко, над самой землей нависших облаков, выпустит на небесный простор солнце, доселе невидимое и все пойдет по иному.

Ветер подул с южной стороны. И было в его теплом дыхании обещание какой-то радости, чего-то нового, каких-то перемен.

Новое и перемены пришли.

Клубясь, исчезали по утрам туманы. Яснее обозначались приземистые курени с заснеженными крышами. К освобожденным небесам тянулся, ставший видным, кизечный дым.

С первыми лучами солнца пришли и первые радости.

Оседал, подтаивал, снег на соломенных, ча́канных, камышевых крышах куреней и сараев. Сползал

вниз, к краям и исходил, точился на землю частой сверкающей золотой капелью.

На земле там и сям лужи. Ими немедленно завладевали, явно шалые от восторга, утки, Они крякали от наслаждения, тяжело переваливались с ноги на ногу и бесперебойно стрекотали носами в ледяной воде.

Заметно теплевший воздух полон был отчаянного чириканья воробьев. Как будто рановато думать о гнездах... Что-ж, полетаем и так, с радости, что идет тепло и уже ушли зимние холода, голод и страх. И воробьи носились, неистово крича и стайками и порознь, с крыши на крышу, ныряли под стрехи, тотчас же выныривали обратно. Кое-кто из них у самых труб, где снег уже стаял и где мокрая солома, высыхая, курилась легким паром, брал солнечную ванну. Блаженно лежал, распластав крылышки — сначала одно, потом другое, по очереди.

Каркали вдали вороны.

У них тоже небывалое оживление. В холодные зимние дни они не покидали хутора, им — и только им — кормились. Без устали скакали - прыгали по дороге, долбили замерзший лошадиный помет, искали ячменное или овсяное зерно. Сидели, больше в одиночку, на крышах построек и зорко наблюдали за дворами.

Двор — склад всевозможных съедобных вещей. Стайка взъерошенных воробьев, с криком и дракой «мельтёшилась» — клубилась внизу на грязно - черном, утоптанном снегу, как раз у самой амбарной двери. Что-то есть... Миг — и ворона внизу! С шумом взметнулись, брызнули вверх воробьи. На снегу ячмень. Немного — щепотка разбросанных зерен. Хозяин-казак в цыбарке нес лошадиную дачку и, должно - быть, поскользнулся. И этому рада ворона. Ток - ток -

ток! И ворона уже на крыше, следит, не спуская глаз, за кобелем, выбежавшим на воробьиный гвалт и, как всегда, опоздавшим. Трудно успеть за пернатой тварью! Теперь, не пропустить хозяйки. В теплых помоях, что она выплескивает за углом летней кухни попадаются на редкость вкусные кусочки...

С ясно ощутившимся переломом в погоде, вороны целыми днями пропадали в близлежащей ендове. Шум, гвалт и несдерживаемый ничем, режущий ухо, раздирающий воздух, во всю воронью могучую глотку, крик. Усаживались, горланя и хлопая крылами на голых ветках высоких тополей и ольх, спорили из-за мест повыше. Вдруг взмывались всей стаей вверх, кружили над ендовой и снова, с неумолчным карканьем опускались на деревья.

... Был предвесенний вороний слет. Обсуждались чрезвычайной важности вороньи дела. Что предпринять против грачей, что не ныне завтра прилетят с юга? Какую тактику применить, чтоб уменьшить их долю на зерно во время весеннего сева? Как распределить поля, куда скоро выедут казаки с разводами, полными покраенной отборной пшеницы? Ну, и самый важный вопрос — ендова наша, воронья! Грачей не допустить вить гнезда по соседству с нашими! Пусть вьют свои гнезда где угодно — в кустарниках по балкам, в лесу над Доном... Но хуторская ендова наша! Ка-а-ррр!..

Казаки - хуторяне по своему отмечаэи предвесенние перемены. Рано по утрам выходили на уборку скота в дубленых полушубках. С солнцем полушубки меняли на ватные поддевки. К вечеру, потея в поддевках, расстегивали их, а потом работали в одних рубахах.

Ко всему испытующе присматривались, все под-

мечали, ничего не ускользало от них: и быстро начавший таять, набухший влагой, ставший ноздреватым снег... Капля воды, повисшая на кончике камышинки над входом в конюшню, сверкнувшая вдруг золотом на мгновение отразившегося в ней солнечного луча... Влажный, час от часу все более согревавшийся воздух, так жадно вдыхаемый легкими, отчего высоко, до отказа поднималась грудь... Горластый кочет, бьющий крыльями на навозной куче и оглушительно, по новому как-то, орущий свое кукареку... А когда донесся от ендовы вороний галдеж, сомнений не оставалось:

— Весна! Эт-то уж без обману! Надо готовиться!

4. Подготовка к севу.

Желтобелый кобель лежал, положив морду на вытянутые лапы и видно было, что его неудержимо клонило ко сну. Временами глаза его с подрагивающими ресницами медленно начинали закрываться — вот-вот закроются совсем... и вдруг открывались снова. Тогда Пират — так звали кобеля, снова видел перед собой плотно затворенную дверь куреня, куда недавно вошли полдничать его хозяева. По опыту он знал, что ему придется еще полежать, пока кто-либо выйдет наружу. И ему ничего не оставалось, как греться на солнце, дремать и терпеливо ждать.

Мартовское солнце заливало горячими лучами хутор. Рано утром было холодно, слегка даже морозило. А сейчас в поддевке уже не выйдешь, надо менять ее на легкие «пинжаки».

Весна в этом году оказалась ранней и дружной. Только в самом начале марта, когда потаял снег, выпали дожди. Потом сразу установилос вёдро с прохладными ночами и теплом солнечных дней. Небо по-

весеннему было особенно синим, в нем плавно носились коршуны и взмывались вороны над потемневшими, расбухшими от весенних соков, деревьями. Вороны в большом волнении — прилетели галки. И к вороньему резко-гортанному карканью прибавились теперь более мелодичные галочьи вскрики.

Сады готовились одеть свой неповторимый по красоте и красочности весенний наряд. На ветках жёрделей и слив уже набухали почки. Еще несколько таких солнечных дней и почки лопнут, распустятся цветами, опережая вишни, груши-дулины и яблони.

Двор был совершенно пустынен. Кроме кобеля да заботливо, с былинками в клювах, порхающих воробьев, спешно начавших устраивать гнезда, ничего живого. Только со стороны свинуха слышалось покрёхтыванье борова да из сада, от времени до времени, доносилось горластое петушиное пение.

Спокойно дремавший доселе кобель поднял вдруг голову и навострил уши. Дверь куреня отворилась и на порог осторожно ступила Василиса. Она держала что-то в переднике и смотрела вниз. Из-под ее ног, квокча, с кромким криком, выскочила курица. Не переставая кричать, она помчалась, перелетывая и хлопая крыльями, прямо на Пирата. Поджав в испуге хвост, кобель шарахнулся к беседке флигеля. Но курица уже неслась обратно и кружилась вокруг Василисы, махавшей свободной рукой на сумашедшую насадку.

— Кш-ши, клятая! Очумела!

За углом куреня Василиса присела на корточки и осторожно высыпала из фартука с дюжину малюсеньких, как желтые пуховые шарики, цыплят. Цыплята жалко попискивали, испуганно ку́чились, жались друг к другу. А огромная по сравнению с ними, взъерошен-

ная наседка уже долбила клювом землю и частым гортанным клёкотом звала свое потомство клевать несуществующее зерно.

— Ну и дуреха же ты, курица! — не выдержала улыбавшаяся Василиса и потянулась рукой за особенно жалко пищавшим цыпленком. В тот же момент, с гримасой боли, она отдернула руку и чуть не упала назад. Наседка пребольно клюнула ее в руку. Удар пришелся по указательному пальцу, выступила кровь и Василиса прижала пораненый палец к губам.

— Ха-ха-ха! — раздался сзади громкий смех. — Батяша! Маманя! Минай! Васянку нашу квочка задолбала! Идите скорей, а то будет поздно! Ха-ха-ха!

Смеялся и кричал Григорий. В белой рубахе с расшитым красными крестиками ожерелком, простоволосый, со взбитым над левым ухом чубком, он поднял цыбарку, бывшую у него в руках и давясь от душившего его смеха, оглушительно забарабанил по ее дну.

Василиса, смеясь, смотрела лучистыми глазами на Григория и потрясала окровавленным пальцем.

— Ой, перестань, Гришатка! Цыплят пер-пужаешь! — вскричала она, тщетно стараясь покрыть выбиваемую парнем барабанную дробь.

Из куреня выскочили два белоголовых мальчугана — Тихон и Никодим — дети Натальи. За ними показалась недоумевающая Наталья, а сзади немного встревоженная Устинья Федоровна.

— Расшумелся, дурыня! Смотри, всех обеспокоил, — укоряла Василиса переставшего, наконец, барабанить Григория.

— Чево такое? Что за шум, а драки нету? — спрашивал Минай, вместе с Ермилом Никанорычем и Герасимом, вышедший во двор.

— Ха-ха-ха! — потешался Григорий, — она ее ка́-

ак саданёт! — захлебываясь, рассказывал он. — А Васянка ажнык на задки присела!

Посмеялись.

Подбежал было Пират, но встревоженная курица яростно набросилась на него. Бедному кобелю пришлось снова спасаться.

— Ты цыпляткам-то пшенца сыпни, Васяна, — ласково сказал снохе Ермил Никанорыч. — Болит палец-то?

— Када клюнула, больно было. Сычас ничево. До кровей клюнула-то, — улыбалась Василиса.

Григорий пошел поить скот. Казаки, с подошедшим к ним работником стояли посреди двора и совещались. Верней, слушали, что говорил Ермил Никанорыч.

— Ты, Герась, добеги сюю минуту до Зуевых. У них краильщик, обещал от Зуевых к нам. Спроси, када будет, — поглаживая бороду, ровным голосом говорил старик. — А мы с Минаем и Лександром начнем делать смотр. Первым делом — бороны.

— Да возьми в казенке полбутылку красноголовой! — крикнул он вслед отходившему Герасиму. — У матери спроси полтину, это на магарыч кра́ильщику.

— Купи у Мирон Сергеича корешков! — снова крикнул он, когда Герасим входил уже в курень. — И вам и краильщику будет, коль курящий.

Ермил Никанорыч в легком «отрёханном» пиджачке, в старенькой фураженке с выцветшим околышем, в латаных штанах, вобранных в белые шерстяные чулки, в старых же, хорошо разношенных и удобных для ног, чириках, совсем не походил на владельца не малого хозяйства. Рядом с ним Александр, всегда свеже выбритый, выглядел настоящим щеголем. Не новый, но чистый серый пиджак, перехваченный

ремнем, штаны на выпуск, на ногах настоящие грубой кожи ботинки. Как все иногородние носил русский картуз с полопавшимся, когда-то лакированным козырьком. Ему было под сорок, что, впрочем, и побудило Ермила Никанорыча остановить на нем свой выбор. Ибо Ермилу Никанорычу приходилось выбирать — к нему набивался другой, совсем молодой, работник. Все уверял, что за работой не постоит, лишь бы хозяин аккуратно платил и хорошо кормил.

— Я молодой и опытный.

— ... Молодой-то молодой... Я это вижу... Это-то и плоховато... Как-бы еще к бабам не начал приставать. И глаза, как у жулика, так и шныряют...

И Ермил Никанорыч нанял Александра. И не пожалел потом. Александр оказался смирным человеком, аккуратным, услужлувым. К нему все привыкли и считали своим.

Все трое направились к возово́му сараю.

— Лександр, попоишь коней, начинай-ка готовить хода́. Начнешь с возилок, — распорядился Ермил Никанорыч, — Ха́ра́ше́-енечка огляди калёса! Починка какая — доложи. Время ещще есть, но и поспешать нужно. Смажь все оси, — да обгляди их! — и втулья калёсные смажь все дёхтем, да не жалей деготь-то! Чеки проверь... По дереву - што — скажи Герасиму, это по ево части.

Минай осматривал первую борону.

— Эту, батяня, всю дочиста к ковалю. Поглядитѐ - ка, все тупые, все двадцать пять зубьев, как один!

— А сволочки́?

— Начну выбивать зубья обсмотрю. Увижу, как держится зуб.

Минай сходил в балаган за инструментом и начал потихоньку, один за другим, выбивать из продольных

двухвершковых дубовых брусьев - сволочко́в, затупившиеся после прошлогодних работ зубья.

Гнезда для зубьев во всех сволочка́х оказались в исправности.

— Натеши, Минаша, клинушков, поищщи дубу, — советовал старик. — Не найдешь дуб — теши из ясеня. На дележи с собой, на случа́й, возьми пучек. Глядишь и пригодится. А жабки как?

Осмотр начался.

В конюшне покрикивал на застоявшихся лошадей работник.

А в это время Пират с жадностью поедал из своей собачьей посудины — полуразбитой молочной черепушки, — выаесенную ему Василисой порцию оставшихся от полдника щей, густо заправленных кусками «пирога».

И надо же было курице, все время хлопотливо водившей по двору цыплят, неосторожно близко подойти к кобелю. Оскалив зубы, кобель зарычал. На курицю это предупреждение не подействовало. Как ни в чем не бывало, она, квокча, потянулась к черепушке. Такой наглости кобель никак не мог стерпеть — он взвизгнул от злости и в мгновение ока вцепился зубами в крыло наседки. Курица забилась, отчаянно заорала. На ее счастье поблизости находилась Наталья, вышедшая проводить ребят в школу. Прикрикнув на кобеля, она нагнулась, чтобы осмотреть помятое крыло насадки. Куда там! Насадка рвалась из ее рук, вопила во всю глотку, точно ее резали, долбила клювом, царапалась когтями. Наталья с досадой бросила ее на землю. Курица сейчас же заквоктала, сзывая рассыпавшихся цыплят и когда те подкатились к ней со всех сторон, в тысячный раз начала учить их, как надо клевать зерно. Левое крыло ее отвисало.

— Тьфу ты, анчутка! — невольно рассмеялась Наталья.

Скоро с хорошими новостями вернулся Герасим.

— Кра́ильщик наказал к вечеру приехать за машиной. С завтрева у нас, — докладывал он довольному Ермилу Никанорычу.

— Вот это ладно! Съездите с Лександром ужотка. Запрягите в развод. Машина хочь и легкая, так пущай кони прогуляются. Чаще бы надо их проваживать.

— А вы, бабочки, о харчах похлопочите, — обратился он к жене и снохам, — человек чужой, штоб был доволен.

— Он, небось, скоромное лопает. Ты не спрашивал Михевну, чем она ево кормила? — обратилась к Герасиму озабоченная Устинья Федоровна.

Начался великий пост и Богатыревы, как все хуторское население, строго его соблюдали.

— Не спрашивал да она сама мне сказала, — отвечал Герасим. — Потребовал мяса, а Зуиха наотрез отказала. Мяса, говорит, не дам! Што ты нехристь што-ли какой? В великий пост курей жрать?

Герасим весело рассмеялся.

— Ну и што-ж? — допытывалась Устинья Федоровна.

— Сошлись на яишне да на молоке. Яйца и молоко, — рассказывал Герасим, — совсем не скоромные.., — это кра́ильщик-то. На вашем, говорит, звару́ да на картошке с посным маслом не наработаешь. Мы рабочий народ, нам нужно сытно есть, штоб в силе быть. Если, говорит, не дадите молока — кра́ить не буду.

Ермил Никанорыч махнул рукой.

— Ничево, мать, — примирительным тоном сказал он. — Давай молока вволю, делай яишню на сале. На-

род теперь такой пошел. Кабы не нужда, без нево-б обошлись.

— Обходились до́си, батяня, — возразил Минай. Он почему-то был против найма краильщика.

— Обходились, конешно, — отвечал Ермил Никанорыч. — Да дороговато это и нам обходилось. Дён пять, почитай, потеряли бы, када бы сами веяли. И все были бы в работе. И не то бы получилося. Нет, сыночки, я уж посчитал и вижу — не жалко двух мер за сто покра́еных, пущай кра́ит.

— Вы, батяня, говорите, все были-б заняты, если-б сами веяли, — снова возразил Минай, — непривычно было видеть его без обычной ухмылки. — А вот увидите завтра сколько потребует он помощников.

— Он не один, сынишка с ним. Помогает крутить барабан, — сказал Герасим.

— Это ты правильно говоришь, Минаша, слов нет, помочь придется, — согласился с Минаем отец. — Но с другой стороны, смекни сам, помощь-то короткая. Мешки с семенами готовы. Завтра утречком, пораньше, перевезете на дрожках под сарай, поставите у стенки и пускай себе кра́ит. Вот и вся наша помощь. А у нас, если б сами взялись очищать пшеничку, ушло бы, говорю, дён пять и все бы почти работали... и чево-нибудь все мешало бы... Тут и веять и скотину убирать надо... И еще одно. Наша веялка, конешно, хорошая, слов нет. И пшеничку опосля молотьбы провеяла не плохо. А все-ж, зерно перемешана — и мелкая и крупная вместе. А их машинка — у кра́ильщиков-то — зерно к зернушку так подгоняет, што, право слово, не разберешь — все одинаковые. Сам видал! И не хитрая штука — барабан с дырочками, а работа чистая.

— Нет, — после краткого молчания заключил Ер-

мил Никанорыч, — пускай берет свои две за сто и сразу штобы.

— Вы, папаша, правильно говорите, — одобрил Герасим — он один из сыновей называл Ермила Никанорыча папашей, а не батяшей или батяней. — Чистая работа и ускоряет.

— Я об том, штоб скорей и хлопочу, — довольный поддержкой Герасима сказал Ермил Никанорыч. — Без крáильщика мы, дай Бог, на Благовещение бы только выехали в поле. А с крáильщиком можно выехать двадцатого числа, может, раньше. Конешно, если позволит погодка, — оговорился он.

— Да я и не спорю. Так, тык-так! Мне все равно, — сдался Минай и рассмеялся, впервые во время всего разговора, отчего сразу стал прежним веселым и беззаботным Минаем.

— Я больше из икономии, — ввернул он модное словечко.

— А теперича, ребятки, пока делать нечево — приготовьте место для крáинья, — распорядился Ермил Никанорыч. — Думаю я, лучше всево под возовым сараем. Вёдра-то вёдра, а как налетит тучка, пиши пропало, намокнут семена. Возилки можно выкатить, постоят и наруже, вреда им не будет, ежели и намокнут. Завтра с утра расстелите пóлог.

Вечером Герасим съездил за краильной машиной. Ездил он один, на разводе, чтобы прогулять лошадей. Машина была легкой, можно было бы доставить ее на простых дрожках. Минай знал об этом. В обеденный визит свой к Зуевым он успел внимательно осмотреть «дырявую машинку», как он окрестил ее. Вся она состояла из большого, аршина в полтора длиной и в три четверти диаметром, цилиндра — «барабана» из тонкого железа с тысячью маленьких дырок, просверлен-

ных по всей его поверхности густыми правильными рядами и из железного же станка на трех ножках. Две ножки со стороны, где была ручка для вращения барабана и одна с открытой стороны, откуда, в силу наклонного положения цилиндра, высыпались крупные, не прошедшие через дырки, зерна пшеницы. Эти отборные зерна и шли на семена. Мелкое же зерно, проходившее через дырки, падало вниз на полог, оно шло на корм птице и называлось «отходом». По концам станка были удобные ручки и два человека легко могли переносить машину с места на место.

Вместе с машиной Герасим привез сундук с вещами кра́ильщика, большую из толстой жести конусообразную, похожую на граммофонную трубу, служившую для засыпки в барабан зерна, две метелки, деревянную лопату. Сам кра́ильщик остался ночевать у Зуевых. Пришел он на следующее утро, на восходе солнца. С ним был белобрысый мальчуган, в недоношенной отцовской поддевке, висевшей на нем, как на вешалке. Зимняя папаха сидела у него на ушах. Если бы не уши, укрыла бы до самой шеи всю его голову. Отец, одетый «по-мужичьи» — в картузе и сапогах, давно не знавших ваксы, оказался человеком строгим.

Отворившего ему калитку Ермила Никанорыча, вышедшего в накинутом на плечи чекмене, в одних подштаниках и в чириках на босу ногу, он, не поздоровавшись, недовольным тоном спросил:

— Еще спите?

— Входи, входи, добрый человек. Не серчай, встали.

Видя, как жался мальчишка к отцу, Ермил Никанорыч прикрикнул на яростно лаявшего кобеля.

— Твой, што-ль? — кивнул он на мальчишку.

— Сын, — коротко ответил краильщик. Он осматривался кругом. — Где краить будем?

— За углом под сараем.

— Все готово?

Краильщик был сильно не в духе. Губы его судорожно подергивались, он странно как-то шмыгал носом, отчего смешно топорщились усы. Вся фигура его выражала явное нетерпение.

— Постой, постой, дай портки надеть, — усмехнулся Ермил Никанорыч. — Куда спешишь?

— Мне нечего время терять. Я один, а вас тут целый хутор. — ворчливо говорил краильщик. — К Благовещению у меня еще четыре двора обкраить. Должóн понимать, хозяин.

— Ну, ну, — примирительно проговорил Ермил Никанорыч. — Вон видишь, казаки встают. В мент все твои причендалы приготовят. И готовить-то нечево, расстелить полог и принесть мешок.

Из флигеля, в накинутой на плечи поддевке, выходил Герасим.

— Герась, — обратился к сыну Ермил Никанорыч. — Вынеси из амбара полог, побольше какой, из новых, што на Покров купили. Да один мешок с семенами. Гришатка опосля их гáмузом все доставит.

— А ты, добрый человек, — обратился он к крáильщику, — шагай под сарай, за куренем, налево. Там вся твоя механика. Орудуй с Богом, а я пойду штаны надевать.

День занимался такой же вёдренный, как и все предыдущие дни. Несмотря на раннюю пору все в курене, кроме детей, повставали.

Устинья Федоровна, зевая и крестя рот, открыла ночную заслонку и готовилась выгребать золу. Из соседней комнаты слышался разговор Миная с Васили-

сой. Вошла веселая, как всегда, Наталья с поджожками в фартуке и двумя кизяками подмышкой... Скоро из трубы потянулся дымок. Наталья с Василисой готовились итти доить. Полоская теплой водой ведра, они посматривали в окно и весело смеялись. Из окна хорошо было видно, как мальчишка краильщика, беспрестанно оправляя сползавшую ему на глаза папаху, тщетно тужился поднять упавший пятипудовый мешок с зерном, принесенный Герасимом. Устинья Федоровна поставила на огонь горшок с нечищенной картошкой и, засучив рукава, месила тесто на пышки к к завтраку.

Одевшись, Ермил Никанорыч направился в амбар. К нему скоро пришел краильщик и попросил меру.

— Сколько мешков, хозяин? — спросил он.

— Восемнадцать.

Ермил Никанорыч, зажав бороду в левой руке, о о чем-то размышлял.

Амбар был просторный. Справа и слева квадратные закрома на четыреста мер каждый. В первых двух овес и ячмень, потом шли жито и гирька и в последнем пшеница, оставшаяся после осенней продажи и отсыпки семян. В глубине лежало до сотни сложенных мешков и брезенты.

— Кубанка, — произнес краильщик. Он перебирал в руках, сыпал зерно пшеницы.

— Желтуха, — закивал Ермил Никанорыч. — Завсегда кубанку сеем. Хорошо урожается и легче продать.

— У Зуевых русская. Не плохая то-ж.

— У русской колос согнутый, навроде крючка, — сказал Ермил Никанорыч. — И поменьше желтая, с краснинкой скорей. Кубанка — чисто желтая, без при-

месев. И родит лучше... На сколько тебе хватит мешков?

— Мешки в пять пудов?

— Пятипудовые.

— Четыре дня уйдет. Хорошо кормить будешь — в три с половиной пропущу.

— А если плохо, до Пасхи будешь кра́ить? — рассмеялся Ермил Никанорыч. — Я - уж похлопочу перед бабами. Скажу, штоб кормили, будь покоен. Насчет мяса, извеняй, дело швах. Не дадут бабы, пост нонича. А об яишне с молочком я-уж похлопочу. Хоть это тоже еда запрещенная. Ну, раз не боишься, ешь на здоровье.

— А чего бояться? — пожал плечами краильщик. — Важно, чтоб тут было, — похлопал он себя по животу.

— Да оно... конешно... И это важно и другое важно... Все, как видно, важно.

— Я пошел, — беря меру, сказал краильщик. — Приходи смотреть, хозяин.

— Приду, приду, — начинай с Богом.

Устинья Федоровна хорошо кормила краильщика и его обжорливого сынишку. Яиц было много, куры занеслись, с молоком не знали, что делать. Били масло, перетапливали его, наполняли им горшки и ставили их в погреб для сохранения. Часть пойдет на еду летом, а другую часть, глядишь, продать можно будет, если подвернется покупатель. Готовили впрок кислое «портошное» молоко. В леднике уже висело несколько «колен» — штанин от чисто «выбаненных» старых «портков», — этого добра в каждом курене было много, — с завязанными концами, полных свежего кислого молока. Молоко постепенно стекало и твердело, но отнюдь, благодаря постоянной свежести в леднике, не

высыхало. Летом можно было отломить кусок такого «портошного» молока, положить его в большую миску со свежей водой, помешать ложкой и ирян, прославленный казачий ирян, был готов. Хлебай, заправив его кусочками мелко накрошенного пирога или пей, как хочешь.

Как освежал этот жидкий белый кисловатый, приятный на вкус, напиток во время молотьбы, когда ссыхалось во рту от жары и в особенности, от всюду проникавшей «соломенной» пыли! Выпив ирянцу, запыленный, черный от солнца, с полопавшимися от жары и пыли, горячечно-сухими губами казак блаженно похлопывал себя ладонью по груди и с гордостью думал: «какие у нас, казаков, знаменитые бабы! Выдумать ирян! Да разве с такими бабами пропадешь? Ни в жисть!»

Из восьми дойных коров шесть были с телятами, две скоро должны были принести. За одной Устинья Федоровна уже наблюдала, вставала по ночам и в сопровождении Пирата, ходила на скотьи базы, наведывалась. Молока поэтому не жалели. Как только краильщик с сынишкой садились за стол, Василиса уже ставила перед ними две черепушки топленого молока с неснятыми, хорошо застывшими на колесе, подрумяненными сливками — «каймаком». И обе черепушки аккуратно опорожнялись. Устинья Федоровна, содрогаясь, приходила в ужас, когда кра́ильщик, набив рот яичницей с ошметками поджареного, хрусящего на зубах сала, расправлял усы, неторопливо обеими руками поднимал черепушку и припадал к ней губами. Грех - то какой! В великий пост! И не разорвет его, окаянного... Мальчишку, как и отца, тоже не разрывало. Его херепушка так же была пуста после каждой трапезы, как и отцовская.

Кра́ильщик, кажется, остался доволен едой — с работой он покончил в три с половиной дня. Заработанную пшеницу просил, уходя, сохранить до того времени, когда весь свой хуторской заработок разом увезет к себе.

Мешки с краеной, действительно, зернышко к зернышку подогнанной, пшеницей снесли на чистую половину конюшни, отход ссыпали в отдельный мешок. Из восемнадцати мешков в отход ушло немного, около одного, чему Ермил Никанорыч был очень рад. Менее довольна была Устинья Федоровна — чем она прокормит свою обжорливую птицу до урожая?

Дело с осмотром инвентаря быстро подвигалось. Зубья борон и орала — из тринадцати оральных зубьев Минай отдал на отбивку девять, — лемехи — как плужной, так и все четыре с пу́каря (два запасных и два рабочих), чересло́ — были уже у коваля. Обещал, несмотря на перегруженность работой, отбить все в срок — «к девятнадцатому марту», как приказал Ермил Никанорыч. Все было осмотрено самым тщательным образом Герасимом и Минаем, при непременном участии самого Ермила Никанорыча. Гре́дель и чепе́ги у плуга, каждый болтик, каждая «закрутка» — гайка у железного пу́каря и орала; все колеса у возилок и развода, сами возилки с виями и развод с оглоблями; все, одно за другим, ёрма; подсчитали и сложили вместе все войцы. Ничего не было забыто. Хомуты, чересседельники, вожжи, налыгычи — все ременное, — были в порядке. За зиму Ермилом Никанорычем все кожаное было починено. Починку сбруи старик никому не доверял, как все оставлял на Герасима, когда дело касалось дерева, и на Миная, если нужно было что починить из железного. На Минае с Александром лежала обязанность наблюдать за состоянием подков. У

двух лошадей подковы могли еще послужить, но Ермил Никанорыч, подержавшись за бороду и махнув рукой, приказал подковать всех четырех.

— Потеряет конь подкову в пахоте, жалку́й опосля — кабы знал, подковал бы... Лучше сычас подковать.

Пришло время и коваль дал знать — ровно в срок! — что зубья готовы. Григорий живо смотался за ними. И вечером, за столом, Ермил Никанорыч, обращаясь к Герасиму, как к старшему своему сыну, заместителю своему в поле, спросил:

— Ну, сынок, иде-же мы в этом году будем сеять пшеничку?

Давно все знали, что посев должен начаться с самого дальнего дележа и закончится ближайшим к хутору. Но не поставить вопроса на семейное обсуждение, в этот именно момент — накануне начала работ и в такой именно форме, — было никак нельзя. Таков был порядок и его свято блюли.

— Я думаю, папаша, — сейчас же вошел в роль блюстителя традиций Герасим, — лучше-б всево начать нам с самова дальнева дележа, што рядом с Баландиным участком. Там у нас полтора круга. Если выехать пораньше, к ночи засеем.

— За день не поспеешь, Герась, — сомнительно покачал головой Ермил Никанорыч. — Подумай, четыре с лишним десятины! Правда-што, погодка хорошая, земля подсохлая, это все верно. Но все-ж, дай Бог, около четырех десятин посеять, не больше. Придется на завтра прихватить. Ну, што-ж, — после краткого раздумья продолжал он. — К полдню разобьете стан на другом дележе, поближе.

— А што мы сеяли там летося? — спросил он вдруг, будто не знал.

— Жито, батяня, — ухмыльнулся Минай.

— Ну, што-ж, опосля жита пшеничка должна бы пойти.

Богатыревы не придерживались строгой системы в перемене посевных площадей. Часто случалось, что на одном и том же участке они засевали два года кряду пшеницу или овес. Поступали, «как подскажет сердце», в зависимости от общих условий — погоды, состояния земли, сроков для посева тех или иных злаков.

Решали пока вопрос о пшенице. Так-как с нее надо было начинать и так-как ее было больше всего, решили начать с дальнего, в восьми верстах от хутора дележа и от него постепенно приближаться к хутору.

И как требовали правила, Ермил Никанорыч встал и уже хозяйским голосом произнес:

— Выезжать завтра на заре!

Приказ о выезде на полевые работы Ермил Никанорыч отдал вечером девятнадцатого марта.

5. Сев.

Было холодно, совсем темно, в небе ярко горели звезды, а во дворе Богатыревых шла работа. Все четверо — Герасим, Минай, Григорий и Александр делали каждый свое дело, делали не торопясь, но и не теряя ни минуты. Герасим и Минай впотьмах подкатили к дверям конюшни развод, разостлали на дне его большой полог, тщательно, насколько позволяла темнота, перекинули широкие поля его через боковые грядушки и, убедившись, что внутренняя сторона разводного ящика плотно и со всех сторон укрыта, начали носить из конюшни мешки и через край сыпать покраенное зерно в развод.

В конюшне, при слабом освещении фонаря, Александр задавал лошадям корм, задав — отправился через скотьи базы в сенник, где из начатой скирды, большим крюком стал дергать сено — предстояло нагрузить сеном одну из возилок.

От колодца ясно доносились в тишине ночи поскрипывание журавца, порою громкий звенящий звук ударившейся о камень цыбарки и человеческий голос. То ругался Григорий, наполнявший до краев огромное корыто, чтобы поить быков и лошадей перед запряжкой.

В развод насыпали шестьдесят пудов. Герасим решил, что этого пока достаточно. Укрыв развод пологом, братья с трудом выкатили из-под сарая тяжелую будку. Чтоб ускорить нагрузку всего необходимого для двухнедельного пребывания в поле, Минай предложил подкатить будку к самому куреню. Герасим наливал из дворового колодца воду в шестиведерный боченок. Минай укладывал полсти, одеяла, подушки, зипуны. Полушубки, поддевки, легкие пиджаки, шерстяные шарфы, рукавицы и варежки должны были собрать и уложить каждый из владельцев. Все это было необходимо, спать по ночам в будке было очень холодно. Как необходимо было положить десятка два «плиток» — кизяков и большую охапку поджожек. Без этого трудно было бы развести огонь для варки польской каши. И совершенно невозможно было бы варить эту кашу без тагана и котелков. Все это важно было не забыть сейчас.

Втащив боченок в будку, Герасим спросил Миная:

— Все уложил?

— Как будто все. Еду уложат бабы.

— Гони тогда за быками! А я приготовлю ермо и возилку, поедем грузить сено.

За сеном надо было выезжать со двора, проехать перереулком за флигелем до задов и там, обогнув сад, свернуть в улочку, что отделяла имение Богатыревых от соседа справа. Скирда, где Александру помогал теперь Григорий, — журавец давно перестал скрипеть, — находилась как раз около улочки.

В будке в это время, при свете чадившего фонаря, суетились Наталья с Василисой, обе в теплых жакетках, с платками на головах, укладывали еду «служивым».

— И останемся мы с тобой, Васянка, в жалмерках, — смеялась Наталья, показывая блестевшие в полутьме зубы. — На целую неделю. Ха́халей заведем.

— На четыре дня, Наталка, — поправила Василиса. — Служивые-ж приедут к Благовещению.

— А -ить верно! Ну, четыре денечка еще можно потерпеть, — залилась смехом Наталья.

Более спокойная Василиса улыбалась, как всегда в подобных случаях, слегка смущенно.

— Мы все щерим зубы, а кабы чево не забыть. Заругают нас казаки.

— Бутта все положили, — неуверенно произнесла Василиса.

— Давай поверять, — предложила Наталья. — ... пироги туточки, — щупала она мешок, прислоненный к стене под нижней полкой. — ... это пшено.., это картошка.., это бутылки с посным маслом... Тут арбузы моченые.., в горшках звар.., тут виноград моченый.., тут кулага.., тут ложки, ножик.., еще чевой-то такое... Ай, маменьки! Соль-то забыли! И утиральники! Беги скореича, Васянка, до маменьки! А-то насыпют нам служивые соли куды не надо.

Василиса помчалась в курень. В это время на ули-

це затарахтели колеса и послышался окрик Герасима: «цобэ, чорт! Да ну тебя!..»

Въезжала во двор возилка с сеном.

Начинался рассвет. Из куреня вышел Ермил Никанорыч.

— Ну как, дети, управились? Идите завтракать.

Съели гору горячих пышек, прямо с огня подававшихся разкрасневшейся Устиньей Федоровной, горшок горячий же, до обжога, картошки, обильно политой подсолнуховым маслом, закусывали кулагой, выплевывая вишневые косточки в ладони, запивали все сладким взваром, настоенным на черных сливах, сушеных дулях и сушеных же, ломтиками порезанных, яблоков.

Минай шутил над Григорием.

— Тебе, Гришатка, не полагается есть.

— Почему такое? Рази я не заработал?

— Хто-ж ево знает? По ночам не видно! Ты не должо́н есть, потому-што остаешься дома при маменьке, — скалил зубы Минай. — Я не понимаю, зачем это ты встал? По настоящему, ты спать должо́н!

Ехали в поле трое — Герасим, Минай и Александр. А Григорий с тех пор, как сыны решили освободить от работы отца, оставался помогать по дому.

— Ну што-ж, сыночки, — заговорил Ермил Никанорыч, когда все насытились. — Приедете на дележи, ухаживайте харашенечка за скотиной, не жалейте сена, пойте во-време. Про работу я-уж не говорю — знаю, как вы работаете, дай Бог всем так. Бороны прочищайте почаще... Лучше остановиться немножко, чем во́локом гнать. А теперича помолимся перед дорогой.

Все, кто стоял, сели.

Помолчали, опустив головы.

Потом старик быстро встал и широко перекрестился на передний угол, где висели иконы.

— С Богом! Напойте и можно запрягать!

Совсем рассвело, когда обоз Богатыревых, после последней проверки, — все-ли хорошо увязано? не забыли-ли чего? — стал выезжать на улицу. В голове Герасим вел пару сытых коней рыжей масти, оба с белыми отметинами на лбу, — бывших строевых лошадей — его, Герасима и Миная, — запряженных в развод с укутанной посевной пшеницей. Сзади к разводу прицеплена была сеялка, а по бокам частили, перебирая ногами, в полной сбруе, остальные две, свободные от запряжки, лошади. Они привязаны были к разводу длинными ременными поводами.

Первая пара быков тащила «польскóй курень», — «казачий шалаш», — «казачью кибитку» — будку, плотно затворенную, полную всякого необходимого на стану добра. За будкой ехали, влачимые второй парой быков, длинные ясли — по казачьи корыто, — нагруженные боронами, оралом, вóйцами, свободными налыгычами, веревочными вожжами и другими вещами, положенными в последнюю минуту. Воз сена, с привязанной сзади четвертой парой быков, шел в конце обоза.

Когда весь обоз вытянулся на улицу, Герасим остановил развод. Минай с Александром привязали воловьи упражки одна к другой. Это позволяло все три упряжки вести одному человеку. Таким человеком был работник Александр. Освободившийся Минай присоединился к Герасиму.

— Готово?

В отворенных настежь воротах стояла и смотрела на уехжающих вся семья — Ермил Никанорыч с Григорием и Устинья Федоровна со снохами. Григорий

что-то кричал и вдруг со всех ног бросился к голове обоза.

— Я с вами! — крикнул он, подбегая к старшим братьям. — Провожу за хутор!

— Н-но! Паше-бл!

Хлопнули по земле, точно выстрелили, кнуты. Лошади дружно рванули развод, быки сначала замялись, качнулись из стороны в сторону и понатужившись, легко потащили за собой «польскóй курень», корыто и воз с сеном. И тотчас же Герасим, шедший рядом с запряженными лошадьми, в такт движению замахавшими головами, сильным низким голосом медленно запел:

Ой, да пы-ыльна́-а-а

Тут вступили, переплетаясь, приятный тенорок Миная и звонкий подголосок Григория:

... эт-та дороже-е-чка
Ой, да пылью она закурё-о-на-я
Ой, да жалко, жалко эту бабе-о-ночку
Да что дюжа она зажурё-о-ная...

Полилась дружно исполняемая старинная песня. В стылом мартовском предутреннем воздухе повисла над хутором заунывно-переливчатая мелодия.

Далеко слышны были свежие голоса певцов.

В обоих концах хутора залаяли собаки. В спящих куренях казаки отрывали от подушек головы, вслушиваясь в знакомые звуки, старались по голосу определить: кто это выехал в поле? И долго не могли они заснуть после. Что-то говорила их сердцу эта не в урочный час «играемая» песня, о чем-то напоминала она им, на что-то указывала. Уж не на то ли, что вся жизнь казака тесно, неотрывно, кровно связана была с песней? Рождается казак — на крестинах песня. Идет на службу казак — его провожает песня. Песня

встречает его, когда «возвертается» он «в родительские курени». На свадьбах песни гремят несколько дней. И на работы казак выезжает с песней. Так повелось давно, так есть и так будет, пока будет казак.

Ой, да журит, бранит донской казачёчик,
Ой, да свою жену молодую...
Ой, за что журил, ну-ка за что бранил
За конёчка свово вороного, коня вороного...

Слышалась долго, постепенно замирая, эта песня и у распахнутых ворот Богатыревского двора. Ермил Никанорыч, зажав в руке бороду, задумчиво опустил голову. Устинья Федоровна, послушав, долго сдерживалась и под конец не выдержала — по пухлым щекам ее покатились слезы. Вспомнила она, вот такие же песни пелись, когда оба сыночка ее уходили в полк. И только молодые снохи счастливо улыбались, вслушиваясь в замирающие в отдалении звуки. Словно отвечая на какую-то сокровенную мысль, Наталья сказала, обращаясь к Василисе:

— Васянка! А-вить хорошо играют песни наши с тобой казаки!

До конца хутора «проиграли» еще одну, тоже старинную песню: «На заре было, на зореньке». Кое-где во дворах было движение, кое-кто из хуторян отворял на улицу калитку, кивал, улыбаясь, певцам и не перебивая слушал, пропуская обоз.

Григорий отстал в конце хутора. Разгоряченный пением, с блестящими глазами, с фураженкой заломленной на-бекрень, медленно зашагал он домой, прислушиваясь — не начнут ли братья новую песню.

И скоро до него песня донеслась. Густой и сильный голос Герасима протяжно заводил:

Прощай ты город и местечко,
Прощай родимый хуторок.

И тут вместе с Минаем, подхватившим грустную мелодию и поведшим ее на верхах:

Прощай ты, девка молодая,
Прощай, лазоревый цветок.

— Служивская... Этих я мало знаю, — думал Григорий. — Ничево, в полку научусь.

А издали доносились грустные вскрики Герасима:

Бывало от зари до зорьки
Лежал у милой на руке.

И ему отвечал, взлетая вверх, нежный тенорок Миная:

А и эх! Теперя от зари до зорьки
Стою с винтовочкой в руке.

Видно было, что Герасима и Миная полк научил многим песням. Всю дорогу до самого дележа, братья, не щадя глоток, пели служивские песни. Едва заканчивали одну, как Минай уже говорил:

— Заводи, Герася, про «пулечку свинчатную».

Или:

— А теперя: «Грянул внезапно гром над Москвою».

«Проиграли» почти весь свой песенный репертуар. Тут были и «За курганом пики блещут», и «Поехал казак на чужбину далеко», и «Конь боевой с походным вьюком», и задористая «Бряцнула колечка, вышел на крылечку», и плясовая «Скакала, плясала по лугам»...

Кони, слушая служивские песни, казалось, тоже вспоминали прошлое, когда вместе со своими хозяевами топтали землю далекой Польши. Они грызли удила, «насторбучивали» — поднимали уши — ясно, прислушивались, — махали потом усиленно и часто головами, — вне всякого сомнения, одобряли, — и то и дело, косили на певцов яблоками своих прекрасных глаз,

— как бы просили продолжать. Если бы они говорили, может быть, они попросили бы спеть им «про седельце черкесское» — единственную песню, в коей конь, этот самый верный и испытанный друг казака, отчитывает - упрекает своего хозяина за пристрастие к вину:

Как и часто ты зелена вина напиваешься,
Да садишься на меня, на добра коня,
На обои боки ты вихляешься,
Мною, добрым конем, выхвалаяешься.

Герасим и Минай шли все время рядом и родство их так и бросалось в глаза. «Братья», — вот первое, что приходило на ум при одном взгляде на них. Оба были одинакового роста, оба плотные, круглолицые, со светлыми волосами. Минай закручивал кверху, почти в «колечко» усы и сохранил чуб. Этим, в сущности, да слегка вздернутым носом, — Василиса, краснея, называла его: «мой курносенький», — он и отличался от старшего брата. И одинаковое одеяние их — оба были в служивских фуражках с алыми околышами и жестяными трехцветными кокардами, — носились по привычке, — в легких дубленках-кожухах, в ношеных, «забáненых» бабами шароварах с бледными, вылинявшими от частых стирок, лампасами, уходившими внизу в чулки белой домашней шерсти, оба в обязательных чириках — все это увеличивало и без того заметное сходство между ними.

Солнце, между тем, собиралось всходить. Еще чуточку и после первых лучей, посланных им на склоны далеких взгорий, оно оторвется от горизонта и целыми потоками их, ослепительно ярких, но пока не греющих, зальет весь лежащий перед ними мир.

Плохо уезженная проселочная дорога, с медленно продвигавшимся по ней обозом, грозила сойти на нет, исчезнуть совсем. То тут, то там, в обе стороны от

нее отходили следы, оставленные свернувшими на свои дележи обозами.

А обозов выехало в хлебную степь не мало. На необозримых ее просторах, — справа, слева и далеко впереди, — чернели станы. Сеяльщиков, боронщиков и оральщиков не было видно, но около кошей маячили вставшие с зарей люди. Скоро задымят костры, а после завтрака на целый день степь огласится коротким и звучным хлопаньем бичей, протяжными криками погонычей, а изредка и песней, исполняемой в одиночку, часто прерываемой, никогда не допеваемой до конца.

Герасим и Минай, охрипшие, но довольные, перестали, наконец, петь. Они и не могли поступить иначе — делёж был близко, надо было сворачивать и ехать дальше бездорожно. Оставалось проехать немного гулевой землей, — по ней ехать было удобно, — свернуть потом на чужие полосы, — тут ехать было тоже легко, — и перебраться в одном месте через чужое вспаханное поле. Тут было плохо, пришлось Александру «поцобэкать» и пощелкать кнутом, особенно, когда на пахоту въехала тяжелая возилка с сеном.

— Стой, приехали! Здорово ночевали! — закричал Герасим, когда весь обоз втянулся на свою полосу — узкую ленту твердой невспаханной земли во всю длину поля, нарочно оставляемую для разбивки на ней стана.

— Погляди, — кивнул ему Минай на глубокий след, оставшийся на пахоте после прохождения обоза. — Обложат нас Кандауровы.

— Настоящая дорога, — весело рассмеялся Герасим. — Придется пройтиться с оралом, када завтря будем уходить. Ну, где-же будем ставить кош?

— Ты у нас кошевой, — усмехнулся Минай, — сам и выбирай.

— Да тут и ставить, где мы сейчас, — заговорил, как всегда солидно, не спеша, Александр. — Первый гон в конце полосы, оттуда и начнем кружиться.

— Правильно, место само указывает, — согласился Герасим и на правах старшего стал распоряжаться.

— Ну, давайте, ребята, разобьем поскорей стан. Ты, Минаша, отведи немного дальше середины развод и там поверни ево поперек. Отвяжи сеялку и поставь ее за разводом, ближе к концу. А ты, Лександр, отвяжи быков и веди их збочь будки. Поставишь сено перед разводом. Корыто — ближе к будке. Будка тут, на углу.

Стан разбили быстро.

Поднявшееся солнце застало Герасима на сиденье сеялки. Он разбирал вожжи. Конь перестал прясть ушами — чего-то ждал. Может быть, привычного окрика. Ему пришлось немного подождать. Герасим не спеша снял фуражку, повернулся корпусом на восток и истово перекрестился. «Господи, благослови», — тихо, почти шопотом произнес он и только после этого гаркнул на весь делёж:

— Эй, пашéл, ми́-лá-ай!

Сеять Герасим начал от гона, где Минай с Александром, разложив принесенные с яслей бороны, запрягали в орало коренных быков. Сеялку немного трясло. За три недели, с того времени как потаял снег, комья земли успели подсохнуть и затвердеть. Но это не беда, Герасиму не привыкать трястись на машинах. На травянке и в особенности на лобогрейке, трясет нехуже.

— Эй, не балуй! — прикрикнул он на коня, уклонившегося в сторону.

На гонах он тщательно досевал пашню до самого конца, проверял, чтобы незасеянной земли не оставалось и только тогда поворачивал коня на следующую сторону запаханного участка.

Оглядевшись, он заметил, что на ближайших дележах, принадлежавших казакам соседнего хутора, разбивались станы.

— ... А папашка думал обогнать всех, — усмехнулся про себя Герасим. — Погодка, она для всех хорошая, каждый старается поспешить...

Когда он объехал дележ, упряжки из орала и борон были готовы. Минай вел орало. Тянуть орало полагалось трем парам быков. Минай стоял возле коренной пары с кнутом в правой, с вожжами, тянувшихся до нальтыча передних быков, в левой руке. Он ждал, когда Герасим начнет второй объезд поля. И когда Герасим прошел мимо, так же, как недавно брат, обнажил голову, перекрестился и хлопнул кнутом.

— Эй, пошел! Нно! Цόб - цобэ-э!

Александр последовал примеру Миная. Его запряжка была сцепленной, как в обозе, где он вел сразу три подводы. Первую борону тянула четвертая пара быков. К бороне была привязана первая из трех лошадей, к бороне этой лошади — вторая и так до конца. Нужно было управлять только быками, за лошадьми почти не требовалось надзора.

Длинные, загнутые вперед оральи зубья вонзились в сырую, подсохшую только на поверхности, землю. И за Минаем, время от времени покрикивавшим на головных быков, потянулся саженный след взлохмаченной, поломанной на мелкие куски, земли. Эту полосу было не узнать, когда по ней, одна за другой, проходили четыре бороны Александра. Из-под четвертой земля выходила гладкой, ровной, мелко рас-

дробленной. Редкое из зерен, засеянных Герасимом, могло оказаться не покрытым после борон. Нужен был огромный опыт, удивительное зрение и железный клюв ворон и галок, чтоб уметь находить себе еду на хорошо забороненном-заволоченном поле.

А вороны и галки были уже тут. Стаями сидели на ближайших незасеянных участках и терпеливо ждали, когда один из станов, засеяв свой дележ, снимался и уходил. Они кружили потом некоторое время над облюбованным ими засеянным полем и с криком, густо опускались на него.

— ... Завтра прилетят на наш делёж. Ничего с ними не поделаешь»... — беззлобно думал Герасим.

На отдаленном коше разводили костер. Легкий дым от него относило в сторону всегда существующим в степи ветерком.

— ... Ага, эти приехали вчёра или позавчёра, завтрак готовят...

Солнце начинало заметно пригревать. Но не настолько, чтобы нужно было менять кожухи на поддевки — холодный ветерок еще давал о себе знать.

Бороны остановились. Александр поднимал за конец каждую и слегка тряс ее, освобождая зубья от настрявшей на них прошлогодней сухой травы, перевернутой пукарем вместе с землей осенью. Остановился и Минай, чтобы дать передышку быкам.

Скоро справа и слева от Богатыревского дележа установилось еще несколько кошей — хутора высылали сеятелей. Стали чаще долетать, заглушенные расстоянием, выкрики людей, больше «цоб» - «цобэ», ржание лошадей, откуда-то донеслась и сейчас же пропала песня.

— «Доехали», — подумал Герасим.

Он устал сидеть, понадобилось размять ноги. Он

спрыгнул с сеялки и пошел следом. Смотрел разом за всем и все видел. Почти безлюдная утром степь на глазах наполнялась вновь прибывающими обозами. Вон еще один тянется — это свой, хуторской. Приехал той же дорогой, что и они — кто бы это? Герасим присмотрелся, по масти лошадей попытался узнать их хозяев. Нет, не разобрать за далью.

Зерно равномерными струйками сыпалось из желобков сеялки, падало, рассыпаясь, на землю. Часть попадала на ровное, другая иногда на дно борозды, не прикрытой в этом месте землей. Дернули, должно быть, быки и пýкарь отдало в сторону. Этим зернам не взойти. Пройдет орало и совершенно закроет, похоронит их — не пробиться росткам вверх, на свет Божий.

— Эй, завилюжил, чорт! — крикнул вдруг Герасим.

Конь, не чувствуя вожжей, отклонился от прямой линии. Герасиму пришлось подняться на сиденье. Пожурив коня, он заставил его идти как надо.

— Доеду до будки, надену пинжак — уж можно, — решил Герасим.

Сбоку от него тянулась широкая полоса проборонённой - проволóченной земли. Мелко раздробленная она стлалась ровным длинным ковром, без единого следа ни людей, ни животных.

— Чистая работа... Красиво как.., — полюбовался и одобрил Герасим.

— Цóб, цобэ! — покрикивал часто Минай.

Александр редко подавал голос. Привязанные к боронам лошади шли спокойно, а быки первой бороны, ведущая пара, по природе своей шли всегда медленно и ровно, никогда не «полыхались» и не «вилю-

жили», что частенько случалось с более темпераментными лошадьми.

В этот круг все, по мере приближения к будке, сбросили кожухи и оделись в пиджаки. Но скоро и в пиджаках становилось жарко. Ветерок, доселе свежий, заметно нагревался.

Герасим ощутил голод.

— Не пора ли полдничать?

Герасим соскочил на пахоту, чтобы узнать время по тени. Тени от него почти не было — солнце стояло над самой головой. Боясь ошибиться, он осмотрелся. Кое-где на станах пошабашили, на двух-трех кошах дымились костры.

— Пора и нам, — решил Герасим.

Он остановил коня, воткнул в землю кнут, чтобы знать куда надо продолжать сев после обеда, закрыл желоба сеялки и остановил ее против развода — надо было досыпать в сеялку пшеницы. Минай с Александром начали распрягать, заметив маневр Герасима.

Пока Герасим и Александр задавали корм животным, привязанным к корыту, Минай хлопотал у будки — на нем лежали обязанности кашевара. Быть кашеваром во время полевых работ — дело не сложное. Но как всякое дело, оно требовало известной сноровки. Сноровки у Миная было хоть отбавляй. К тому же, он вообще любил стряпать. И не родись он казаком, вышла бы из него отличная стряпуха. Он прекрасно, не хуже баб, смог бы приготовить любое блюдо. Знал, как приготовить опару и закваски, будь то для пирогов, молóк или кваса. Умел печь пышки — обычные и пресные, а на масленицу ловко подбрасывал на сковородке блины и тончайшие блинчики. Он часто наведывался в стяпку, мешал бабам, приставал к ним с расспросами, давал советы, подсмеивался, когда у

них получался «блин комом». В таких случаях он беcжалостно изгонялся вон. «Уходи отсуда, чепила! Тоже, стяпуха! Вот я-те ча́пельником!» Во время летних полевых работ, в мясоед, Минай, как кашевар, мог развернуться. И его «польска́я каша» всегда удавалась на славу. Не то теперь — в великий пост не развернешься. Пшено, картошка, постное масло — это все.

Минай, прежде всего, занялся костром. Наломав немного поджожек из запаса, привезенного из дому, он сложил их небольшой кучкой и поджег. Разгоревшиеся поджожки обложил маленькими кусками разбитого кизяка. Наладив костер, Минай поставил на огонь таган и полный воды котелок. В котелок бросил две горсти пшена, плеснул на глаз, прямо из бутылки, постного масла, посолил и стал чистить картошку. Подошли Герасим и Александр.

— Ну как, кашевар, дела? Не готова каша?

Минай, бросив в котелок почищенную картошку, дул на огонь. Он стоял «на четвереньках» перед костром, лицо его было красно от усилия, на глазах выступали слезы — едкий кизечный дым слепил их.

— Чистая беда с кизеками, — протирая глаза, сказал он. — Пока разгорятся — можно сдохнуть с голоду.

— Я схожу за буркуном, — предложил свои услуги Александр. — Много его на гулевой земле.

Герасим уселся на дно перевернутой цыбарки. достал кисет, из кисетного «кармашка» извлек книжечку косо порезанной бумаги табачной фабрики братьев Зиминых, оторвал листок и ловко скрутил «косоножку». Закурил и протянул кисет Минаю. К едкому кизечному дыму прибавился не менее едкий, но более

приятный для «курцов», дым Заусайловской очищенной махорки.

Пришел Александр с охапкой буркуна, перекатики, степной калюки. Это оказалось большим подспорьем — костер запылал. И когда Александр доламывал последние стебли высохшей прошлогодней травы, каша поспела.

Сидели на разостланных кожухах вокруг котелка, вместе с таганком снятого с огня. Хлебали деревянными ложками кашу, вылавливали картошку, ели ее с колобашками. Двадцать минут и котелок был пуст.

Курили, обменивались впечатлениями о хорошей погоде, об удачно начатой работе, сравнивали текущий год с годм истекшим. Тогда сеяли в дождь, выжидали пока пересохнет, а потом сеяли в грязь, с боронами была чистая беда. А два года назад дул, не переставая, ветер. И в ветер хорошо не посеешь. Нет, в этом году не на что пожаловаться, началось все даже очень хорошо. Если и дальше так будет — урожай будет «огромадный»...

После обеда Минай с Александром гоняли быков и лошадей поить в общественном колодце, недалеко от дележа. У колодца было два небольших корыта, поить было удобно, воду черпали цыбаркой, прицепленной к налыгычу. А Герасим за это время осмотрел все бороны, орало и успел наполнить зерном сеялку.

На других дележах такое же движение. И скоро по степи снова защелкали кнуты и послышались протяжные окрики погонычей.

Работали до темноты. Надеялся Герасим закончить посев на дележе к вечеру — не удалось. Ермил Никанорыч оказался прав — небольшой кусок посредине остался незасеянным.

Устали ходить целый день по разрыхленной боро-

нами пахоте. Устали и люди и животные. Распрягали, задавали корм поспешно — поскорей к огню, отдохнуть, поесть, согреться... С заходом солнца сразу стало холодно. Обрядились по-зимнему. Одели кожухи, вокруг шей намотали шарфы, руки попрятали в варежки. Лежали у костра, смотрели на огонь, перебрасывались словами, ждали когда поспеет каша.

Вся степь горела в кострах. Вокруг них маячили людские тени. Временами долетали говор и веселый смех.

Минай считал костры. Сосчитал до двадцати и бросил.

Кроме каши ели моченые арбузы и яблоки. Было вкусно.

Герасим поднялся с земли первым.

— Минаша, — проговорил он, — ты начинай стелить, а я попою скотину.

— И я с тобой, Герасим, — сказал Александр. — Стемнело, вдвоем сподручней.

— Пойдем.

Минай быстро превратил будку в спальню. Расстелил пóлсти, разложил одеяла, зипуны, бросил в голова пиджаки и подушки. До прихода поильщиков успел набросать в корыто сена.

Улеглись, но несмотря на усталость — сколько верст отмерили они за день, кружась по дележу? — никто не мог заснуть. Когда надоело переворачиваться с боку на бок, Герасим не выдержал:

— Ты бы рассказал чево, Минаша, — попросил он. — Не спится што-то.

Минай не заставил себя упрашивать.

— Раз такое было, — начал рассказывать он. — Пришли мы с сотней в польскую деревню. Дело было летом, на маневрах мы были. Пришли перед вечером,

стали по квартирам. На наш взвод отвели большой двор у богатого мужика польского. Коней порасставили где попало — под навесами, на конюшне, остальных попривязывали к столбам. Казаков всех поместили в огромадном стодоле, запретили, само-собой, курить — сено было кругом. Ну, поуправились, зачистили лошадей, ждем кухню. Взводный наш — старший урядник Великов объявил — простоим, говорит, и завтра тут. Потому — все господа офицеры на фольварк уехали, пригласил их в гости помещик польский. Ну, нам-то што. Уехали, так уехали, наше дело маленькое. Вышли мы вечером на плац, заиграли песни. Тихо так было, тепло так... Вся сотня собралась. Сыграли две - три песни, смотрим, а кругом народу! И старые, и малые, и молодые хлопчики, и молоденькие панянки. И вот смотрю, недалеко от меня стоит одна паняночка, по одеже вижу из простых. Ну, до того же красивая! И все на меня посматривает. Нет-нет да и глянет. А поптом глаза опустит и опять — зирк! Стой, брат, думаю. Если правда, как говорил взводный, што мы завтра простоим тут, вот, думаю я, оказия подсыпаться к паняночке. Человек я был холостой, об жене нечего было голову ломать. Да ведь, к примеру сказать, если даже и женатый — рази можно было оставить без внимания красивую девочку, када она сама на знакомство набивается? И, стало быть, слежу я за своей панянкой. Нет, ошибки не могло быть — это она меня заприметила. Встретился я с ней глазами — вспыхнула вся, засмеялась и смотрит, глаз не отводит. А красивая какая была! Тут только рассмотрел я ее хорошенько. Черняевенькая из себя, глаза, должно быть, тоже черные, щечки горят, зубы белые. А тут звякнула гармошка. Пришел ихний гармонист, заиграл польку. Казаки стали приглашать барышней на танцы.

Вижу, к моей панянке подкатился приказной второго взвода Лёвочкин. Ах-ты, думаю, прозевал! Только смотрю — не выходит дело у приказного Лёвочкина — панянка крутит головой, не хочу, мол. Лёвочкин пристает, а она головой трясет — нет, нет, нет! Отшился Лёвочкин. Ну, думаю, была не была, попробую. Протолкался к ней, а самому страшно — отошьет, как Лёвочкина. Не успел я рот раскрыть, значит, пригласить вежливо, как полагается, а она уж руку мне на погон кладет, сама подается так, бери — мол — за талею. Божже-ж мой! Што со мной делалось тада! Разум, ажнык, отшибло. А она так и льнет ко мне — наши девки, ни за какие, не смогут так, насупротив польских! А глазки у нее блестят, губки раскрытые — аленький цветочек! Покрутился с ней. Про себя думаю — надо поспешить, начинало уж темнеть, как бы трубач не заиграл. Вывел ее из круга, а погутарить толком не пришлось. Я ей на русском языке объясняю, а она мне все: не разумем, пане, не разумем, пане. Я ее спрашиваю, где вы, мол, живете, барышня? А она все свое — не разумем. Я ей стал тада объяснять иначе: руку приложил к щеке, голову склонил на бок, глаза закрыл — хочу сказать, иде-мол, спишь... пальцем в нее пихнул — ты-мол! Поняла — да-да-да! Указывает на халупу одну, недалеко от нас было, хорошенечко заприметил. И опять к ней, руками орудую вместо языка. Показываю на одново, на другова, на весь плац кругом и опять ладошку к лицу прикладáю, глаза закрываю — хочу сказать — када-мол все уснут. Засмеялась, поняла. Тада я себе пальцем в груди, потом показываю на ее халупу и зашагал на месте. И опять засмеялась и закивала головой, поняла. «Добже, пане» и еще што-то протачала по своему, не разобрал, но понял, што она будет меня ждать. Тут скомандовали нам расходить-

ся по квартирам. Я был доволен, што успел все объяснить панянке. Собрались взводом в клуне, казаки укладаются спать, а я лежу одетый, думаю — как же пробраться к своей панянке? Через ворота нельзя, стоит дневальный. Эх, думаю, сигану через огражу, што за садом! Возле сада, под навесом, стояли кони. Пойду к ним, бутто по делу, а там в сад и оттуда на улицу. Жду, када позаснут казаки. Ворота в клуню открытые, горит фонарь, слабо так освещает. У стены, у самых ворот, винтовки — чуть видно — стоят... Пришел господин вахмистр. Старший урядник Великов к нему с рапортом — все - мол, налицо и всё - мол, во взводе благополучно. Через короткое время вижу - можно действовать. Встаю потихонечку, все спят, иду к дверям, а сердце стук-стук-стук! Только я дошел до дверей — слышу — труба. Што такое? В чем дело? А уж вижу взводный вскочил да как зашумит: «Вставай, ребята, тревога! Живо седлать! Говорил я вам, не раскидываться!» Мать честная! Взвод как ветром сдуло. Через пять минут мы уж были на плацу, а оттуда всей сотней неметом поскакали к фольварку, сотенный командир ординарцем по тревоге вызвал. Чуть го́ловы не поламали.

Минай замолчал.

— Панянку, стало быть, не пришлось повидать? — спросил Александр, сильно любивший рассказы о любовных приключениях. — Она, думаешь, ждала?

— Думаю, што ждала, — уверенно сказал Минай и в голосе его почуялось легкое сожаление. — Через нее, — засмеялся он, — я первым поседлал коня — был совсем готовый. Взводный опосля всем на меня показывал, вот, говорит, какой Богатырев проворный казак.

Ночью Геарсим вставал подкинуть корму животным.

Было по ночному свежо. На небе ярко горели звезды.

— Как бы не подморозило, — по привычке подумал Герасим. Вздрогнув от неожиданно охватившего его озноба, он зевнул, перекрестился мелким крестом и полез в будку.

Степь, укрытая мраком, спала. Не видно было ни одного огонька. Не слышно было ни одного звука. Впрочем, нет. Откуда-то из темноты дошел и пронесся над степью еле ощутимый шорох, похожий на шум крыла высоко пролетевшей птицы... И шорох-шум этот, как вздох какого-то таинственного существа, казался загадочным и грустным.

Imprimerie P.I.U.F., 3, rue du Sabot - Paris (6e)